

СЕРГЕЙ ЗЕЛИНСКИЙ

**ПОДМЕНА
РЕАЛЬНОСТИ
СБОРНИК ПОВЕСТЕЙ**



Оглавление

О КНИГЕ.....	3
Знак вопроса, или почти психопатология	6
Наедине с собой	39
Подмена реальности.....	60
Письма в никуда, или сумасшествие.....	84
Убить в себе врага.....	117
Покаяние, или исповедь негодяя	141
Не запретные откровения о запретном.....	162
Обычная жизнь.....	191

© 2014 –

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without permission in writing from both the copyright owner and the publisher.

Requests for permission to make copies of any part of this work should be e-mailed to: altaspera@gmail.com

В тексте сохранены авторские орфография и пунктуация.

Published in Canada by Altaspera Publishing & Literary Agency Inc.

О книге.

«Никто не обольщай самого себя: если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтоб быть мудрым»

1-е послание коринфянам. 3:18

С.А.

Зелинский

**Подмена
реальности
СБ.ПОВЕСТИ**

Altaspera

CANADA

2014

С. А. Зелинский
Подмена реальности

С. А. Зелинский.
Подмена реальности. Сборник
повестей.— CANADA.: Altaspera Publishing &
Literary Agency Inc, 2014. — 183 с.

ISBN 9781312355477

© ALTASPERA PUBLISHING & LITERARY
AGENCY

© Зелинский С. А., 2014

Текст печатается в авторской редакции.

Все права защищены. Никакая часть
данной книги не может быть воспроизведена в
какой бы то ни было форме без письменного
разрешения владельцев авторских прав.

Сборник повестей «Подмена реальности»

повесть

Знак вопроса, или почти психопатология

«Никто не обольщай самого себя: если кто из вас думает
быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтоб быть мудрым»

1-е послание коринфянам. 3:18

Глава 1

Человек шел по улицам дождливого города. В его сознании давно уже были действительно дождливые (серые, размывачатые, невзрачные) и улицы, и проспекты, и дома, -- но самое печальное - люди. Все жители городка казались ему такими. Спросить, было ли такое ощущение в другом городе? (мужчина жил в этом городе уже несколько лет; но до сих пор считал себя приезжим),-- так, и ответить бы он утвердительно не смог. Просто не размышлял он как-то об этом раньше. Думал о чем-то другом. Но о чем - тоже не сказал бы сейчас...)

Какое-то непонятное чувство разливалось внутри него. Было все непонятно, неосознанно, неузнаваемо. Не...

Непривычные очертания предметов, казалось, совсем недавно потеряли свою актуальную значимость.

А может они и такими были всегда...

Глава 2

Совсем не хотелось никого узнавать. Тем более встречаться, или заново знакомиться.

И уже как бы само собой, сказать куда шел - он не мог. Ни он, ни кто другой.

Но здесь еще не было такого уж серьезного ощущения опасности. С Мерлихом (Мерлих Борис Донатович - его полное имя) такое случалось и раньше. И придавал какое этому серьезное значение он только вначале. А начало было уж лет как десять, пятнадцать назад... И с тех пор как будто свyksя. Ну, или, - должен был (наверняка), свyksнуться с подобным положением. И уж нисколько (зачем?) - не переживать и не расстраиваться по поводу того.

Да, пожалуй, и не было этих чувств сейчас у него. Потому как он шел, даже, казалось, совсем выверено. Ну, в смысле, по достаточно проторенному (в подсознании) пути. Пути, известному ему одному. И... неизвестному совсем.

.....

Подобные походы всегда заканчивались чем-то страшным. Кошмарными сновидениями, например. Или галлюцинациями.

Он тогда с суматошной поспешностью вбегал в специально предназначавшуюся для того комнатую коммуналную квартиру (где проживал один, и среди восьми

комнат - две были его). Сколько раз после он переполнялся невероятной благодарностью неизвестным архитекторам, спланировавшим постройку его трехэтажного домика таким образом, что комната, где жил Борис Донатович, каким-то загадочным образом выпирала с угла так, что ни под ним, ни сверху, не было соседей, но и за стеной также соседей не было; потому как размещались комнаты Мерлиха одна за другой ('словно паровозные вагоны', - любил он шутить, когда бывал - бывал, бывал, иногда, действительно бывал - в добром расположении духа), а к их дому вплотную примыкал семиэтажный дом (тоже старой постройки, дореволюционный, Санкт-Петербургской...).

.....

Еще до приезда своего в этот город, Мерлих порывался вплотную заняться изучением его истории. Но как-то все время откладывал. А теперь уже, и не досуг было. Потому как...

С суматошной поспешностью Мерлих забежал (пробегая через одну комнату - в другую) в свою квартиру. В затуманенном сознании задерживались (полу-занавешанные, полу-сорвавшиеся с 'собачек') шторы (они шли тремя рядами, чтобы скрыть любые просветы света). И не успевал Мерлих уже подумать ни о чем, как тело совсем отказывало ему; нарушалось притяжение земли, и совсем теряя способность находиться в пространстве, поддавался он тому рою, что уже заполнял его... сознание?... подсознание?... - и... попросту не помнил (он) уже ничего.

(Заметим, что просыпался - если посчитать уместным какое сравнение со сном - Мерлих полу - на полу, полу - на

кровати, или же попросту свесившись с нее, или же оказавшись под ней.)

Что было делать ему? Как справляться с наверняка начинавшимся безумием? Да и надо ли было справляться? Не лучше ли было подчиниться этому суматошному бегу совсем отчаявшихся мыслей? Или, быть может, затолкав поглубже желание что либо предпринимать,-- просто подчиниться закону... (Если то, конечно же, можно было уподобить какому-нибудь закону.)

Глава 3

Борис Донатович Мерлих был 43-хлетним ученым, некогда - физиком-ядерщиком, кандидатом наук - на четвертом десятке лет жизни изменившим судьбу, и после оставления НИИ, где до того работал, ставшим философом.

Удивительный (для всех знакомых; отчаявшихся урезонить неугомонное дитя -- родителей: папа - профессор математики, мама - филолог - переводчик; обеспокоенных - 'явным помешательством Бореньки' -- родственников...) поворот в некогда стабильных, как считали все, жизненных планах Мерлиха, по всей видимости, был понятен только ему.

По крайней мере это не вызывало в его душе каких-то сложных чувств, как то: беспокойство, тревога, помешательство... Потому как, по мнению разом решившихся придерживаться подобной точки зрения знакомых, он всегда был таким.

.....

Каким на самом деле был Борис Донатович не знал никто. В детстве, столкнувшись с загадкой непонимания

поступков окружающих, маленький Борис как бы абстрагировался от мира, погрузившись в мир собственный. И ведь не сказать, чтобы плохо ему было в нем. Но, наверное, и не так уж хорошо. Потому что были и (до боли безысходности) бесшумные крики отчаяния (больше всего Борис опасался показать свои истинные чувства окружающим); и затуманенные и никак не решавшиеся воплотиться в реальную действительность (а потому и до сих пор - остававшиеся в подсознании), попытки разрубить гордиев узел внутренних противоречий каким-нибудь единым взмахом (лезвием по венам) взбалмошно-отточенного движения. Что исключалось, впрочем, как бы изначально. Хотя бы потому, что с детства Борис Донатович был таким неуверенным (по мнению всех без исключения школьных и институтских знакомых, коллег, и, конечно же, родственников) кюхлей; проливавшем суп, пока тянул ложку ко рту; да обязательно наступавшим в одну единственную лужу после кратковременного дождика.

Но почти не обращал Борис Донатович (ни тогда - ребенком по возрасту; ни теперь, таким же ребенком - по сути) внимания на косившиеся взгляды, да 'все понимающие' кивки головами за его спиной. Не обращал внимания. А то и вовсе, как считали злоумышленники, в когорту которых причислялись им все без исключения, не замечал. Хотя, по сути, именно так и было -- не замечал, не обращал внимания, а то и просто делал вид, что не замечает. А по ночам...

По ночам выливалось все это (непонимание окружающих), в беззвучный стон сожаления. Потому-то и стремился Борис Донатович, еще с детства, к одиночеству. И был на самом деле он одинок. Несмотря на опеку родителей. Да и не

только их. Выходило так, что те, кто видел Борис Донатовича, отчего-то считали своим долгом начинать заботиться о нем. Нисколько при этом не спрашивая: нужно ли было ему такое посредничество между ним, и окружающим миром?

Глава 4

Но, должно быть, страшнее всего была необходимость каким-то образом (кто знает каким?) избавиться от страхов.

По сути - что такое страх? Одно время Мерлих даже специально пробовал заниматься изучением данного вопроса. Но ни к чему толковому (применительно к себе), в своих размышлениях не пришел.

Нет, конечно же, в какой-то мере ему удалось объяснить природу страха. Целый ряд классиков и современных ученых, от психотерапевтов до психиатров, высказывались по этому поводу. И Мерлих уже мог объяснить возможную причину развития страха - в своем случае.

Но дальше (помимо объяснения) дело не пошло. Да и, по сути, ему это было уже не нужно.

А самое главное заключалось в том, что с недавних пор Борис Донатович научился справляться с природой собственных страхов. Направлять их в нужное русло (насколько уместно будет в его случае подобное словосочетание?). Да и сами страхи, в отношении к нему, превращались уже не в страхи, как таковые, а в различные производные его, как-то: тревоги, волнения, беспокойства...

Нет. С этим, конечно же, мириться было нельзя. Да и Борис Донатович никогда бы не согласился на что-то подобное.

Но он, если можно так выразиться, научился преобразовывать, трансформировать природу страха. В какой-то мере даже - нивелировать ее достоинство (если допустить существование такового).

Другими словами, Мерлих стал работать со своими страхами. И одним из способов выбранного и используемого им метода была сублимация; то есть,-- проецирование своего внутреннего состояния в творчество.

Он стал писать картины.

При этом, что любопытно, поначалу не заботясь о качестве собственных полотен (на это не было ни сил, ни времени), и нисколько не будучи (даже поверхностно) знакомым с техникой художественного мастерства (поиск нужного цвета, смешивание цветов, ретуширование...), Борис Донатович со временем каким-то удивительным образом стал обращать внимания и на эти вопросы. Точнее, стал понимать, разбираться в них. При этом, главным образом, до всего приходилось доходить самостоятельно. Тратить время на ученичество под чьим-нибудь руководством у него попросту не было времени, сил, желания. Да и композиции полотен буквально струились (пока, впрочем, не вырисовываясь во что-то осознанное) из его подсознания. И оставалось только подставлять мольберт и кисть. И даже краски, по сути, были ему не так уж нужны. Потому как Борис Донатович с ровным успехом мог бы рисовать и на стекле, и на снегу, и в своем воображении.

Главное было не это. Важно было то, что таким вот незадачливым образом Борис Донатович Мерлих на самом деле избавлялся от собственных кошмаров. И - каким-то загадочным

для него образом -- излечивал себя. При этом это все для него конечно же оставалось загадочным. Почему так происходит? Точнее, почему удастся подобное? Ведь было на самом деле любопытно, почему сублимация случилась именно в художественное творчество? А, например, не в то же литературное? (Когда-то Мерлих подумывал даже о поступлении в Институт иностранных языков). Или, например, не в...

Да, в принципе, мало ли во что еще могла произойти эта сублимация? Но если попытаться еще ближе подойти к рассмотрению данного вопроса (в том случае, если, конечно, вопрос беспокоил или волновал кого-нибудь; Мерлиху это было абсолютно безразлично), то можно было отыскать в роду его настоящих художников; например, деда по матери. Или, что далеко ходить, родного отца. (Хотя с родителем, насколько помнится, дело было какое-то темное. Погиб тот при невыясненных обстоятельствах. Ходили слухи, что убили. Или - утонул. Или - погиб на охоте. В общем, когда Борису был год-полтора, Донат Арменович отправился с друзьями на охоту. И не вернулся. С тех пор, мать воспитывала его сама. А потом вышла замуж за одного известного литератора. Который, впрочем, вскоре тоже погиб. В авиакатастрофе. Когда возвращался в Киев, где жил с женой, да ее сыном, Борисом, после вручения очередной литературной премии.)

Так что, генетический аспект, по всей видимости, тоже присутствовал.

Глава 5

Но иногда Борис Донатович был совсем другой. Как будто был совсем другой. Как будто бы и не было недавних неразгаданных тайн. Неразрешимых (и, -- не разрешаемых) задач. И на фоне относительно безоблачного жизненного небосклона, он принимался... мечтать.

Вот уж, поистине, что оказалось неистребимо в нем. Несмотря на пережитое (точнее - все время переживаемое), несмотря на, в принципе, достаточно большую психику (с явной симптоматикой зарождавшихся психопатологических заболеваний), Борис Донатович, как оказалось, умел не только мечтать (фантазийный бред сумасшедшего вполне возможен, но, зачастую, достаточно специфичен), но и мечты его были... прагматичные.

Хотя уже потому, что подобное случалось достаточно редко (а в последнее время - все реже и реже), нам даже кажется что и не стоит упоминать об этих его фантазиях вовсе. Одно лишь можно сказать. Особая тематика подобной прагматичности почти не претворялась в каких-то реальных делах. Но иногда представляла во всей красе в сновидениях Бориса Донатовича. И тогда, просыпаясь на утро (само утро, надо заметить, оказывалось невероятно сдвинуто во времени), Борис Донатович Мерлих вполне сознательно окончательно не просыпался. Как бы стремившись удержать в себе чудо, явившееся во сне.

И тогда оно исчезало само. А на душе начинала царить откровенная гадость. Словно все мрачные силы бессознательного, вынужденные до поры до времени скрываться, вдруг выползали наружу. Причем, слово 'выползали' даже, пожалуй, недостаточно четко раскрывает все то безобразное, какое начинал испытывать он.

Потому как, они не только выползали; но и выползали и выползали. Так что, в итоге, его паническое состояние настолько переполнялось всем тем ужасом, от которого он доселе скрывался, что у Бориса Донатовича опускались руки. И тогда его психическое состояние являло собой силы вселенского кошмара. От которого уже и невозможно было скрыться.

И доходило до того, что теперь Мерлих принимался всячески отторгать от себя все то, что до недавних пор позиционировалось им как нечто светлое и хорошее . Теперь такого не случалось. И на душ) была одна лишь мразь и гадость.

И уже потому, наряду со все реже случавшимися просветами (просветлениями) в собственной душе, Борис Донатович все больше стал принимать (вынужденно принимать) за свое нормальное состояние (обманывая, по сути, сам себя) весь тот хаос, который с недавних пор господствовал в его душе.

От этого нового состояния не было спасения. И какое-либо бегство становилось возможным лишь в мир иллюзий. Которыми Борис Донатович вскоре и принялся подменять реальную жизнь.

Можно было даже сказать, что он стал жить в плену обманчивых образов. А то, что некогда еще считалось его настоящим, - постепенно задвигалось, пока не оказалось окончательно скрыто на задний план. И сгинув в глубинах бессознательного, оно уже практически и не могло быть востребовано обратно. Да Борису Николаевичу пожалуй, и не пришло бы такое в голову.

И тогда уже здесь мы подошли к еще одной черте его неординарного, по сути, характера. Черте, скрываемой самим

Борисом Донатовичем. Да и не каждый может признаться в таком.

Но, к слову сказать, эта черта характера Бориса Донатовича (которую вполне можно отнести к особенностям его психики; точнее - потаенных уголков устройства ее) проявлялась не то чтобы каждый раз (стоило только, например, захотеть востребовать ее). И даже, можно сказать, наоборот, - проявлялась она достаточно редко. А механизмы ее включения долгое время оставались и вовсе неразгаданными. Пока... Пока не узнали мы, что существует определенный момент, когда то, что до сей поры так тщательно скрывалось, со всей откровенностью и прямоотой выбрасывалось на поверхность. Выстреливая словно пробка из-под шампанского (которое, заметим, он не очень-то и любил. Предпочитал все больше водочку, да коньячок. Ну, что-нибудь покрепче, словом.)

И обстоятельства, когда случалось подобное, было не чем иным, как алкогольным опьянением.

И тогда становился Борис Донатович абсолютно неуправляем. Круша все, что попадалось на пути (несмотря на более чем щедушный организм - ему это удавалось), да облаивая всех такими словами, от которых, услышь он сам в иное время нечто подобное, тот час бы слег с сердечным приступом в больницу.

И можно ли было не замечать, этих его состояний? Дав, например, ему какую скидку? То что пьяным был? Так многие - пьют. То, что больной?. А ведь действительно, давно уже пора было признать Бориса Донатовича Мерлиха пациентом

психиатрической клиники. Да так бы и случилось, пожалуй, если бы он сам не был врачом. Психиатром.

(На самом деле, конечно, никаким врачом он не был. Но... он был им. Был в том мире, который сам себе выдумал. И в котором теперь находился большую часть из отведенного на жизнь времени.)

.....

.

Причем нисколько нельзя было сказать чтобы Борис Донатович (при таком своем поведении) испытывал какие-то затруднения. Он даже, по всей видимости, и не думал о том. Ни в день праздника души (ночь, день, какая разница; если Мерлих начинал пить - времени суток не существовало). Ни на следующий день. (Правда, на следующий день Мерлих ничего не помнил. Точнее, любое воспоминание отзывалось в нем самой жуткой болью. И он попросту вынужден бы его прекращать.) А вот потом... Когда память, как оказалось, совсем ничего не забыла, и лишь на время затаившись, вдруг разом начинала возвращать свое... Вот тогда уже становилось действительно страшно.

Жуткое зрелище являл при этом Мерлих. Совсем не было сил у него пытаться как-то сопоставлять или анализировать происходящее. Он попросту вынужденно, и даже с какой-то безучастностью, констатировал это самое происходящее. Причем, эмоциональное состояние его было настолько разрушено, что какие-либо стремления (если только предположить, что они еще были возможны), устремлялись не туда. А психика... собственная психика Бориса Донатовича Мерлиха являла такое жалкое зрелище, что можно было говорить и вообще, о каком-либо

скором окончании земного существования. А то и вовсе, казалось, нет у Мерлиха никакой психической жизни. Живет та по совсем иным законам да и другим правилам.

Но хоть живет... Правда, самому Мерлиху, такая жизнь... Да и что это была за жизнь?.. Обострение симптоматики заболевания, да и только...

И можно было сказать, что уже и не было Мерлиха. Он сам не хотел жить. Но отчего-то все цеплялся за эту жизнь. Да и, на самом деле, в какой-либо реальности существования своего Мерлих давно запутался. И в иные моменты (которых становилось все большинство) он совсем бы и не смог уверенно утверждать где был он, а где - его воображение.

И уже ему казалось, что его-то как раз и не было. А был какой-то выдуманный образ, которому он пытался (или,-- должен был) соответствовать. При этом, в любую минуту картинка окружающего мира могла измениться (и изменялась). И тогда можно было совсем запутаться, что же было правдой, а что вымыслом? И при любом желании разобраться вопрос только запутывался. И уже совсем нельзя было сказать, был ли вообще Мерлих? Существовал ли? Или его не было. И тогда воспоминания о нем лишь следствие воспаленного воображения...

Мерлих жил. И как будто не жил вовсе. Мерлих чувствовал.... А что, собственно, Мерлих чувствовал? Разве мог он, если подумать, хоть что-то чувствовать? Неужели он был способен, хоть как-то еще тестировать реальность. Анализировать действительность. Способен ли был?.

Если честно - нет. Но даже не это было самое страшное. Все дело в том, что почти тотчас же (день, два,-- все равно, что

миг... В его состоянии, разумеется), Борис Донатович начинал испытывать такое чувство вины, что его и мысли, и желания, да и вообще, все, что только могло являться проявлением каких-либо психических реакций, надолго становилось парализованными. Он не хотел жить. Он не хотел умирать. Он не хотел вообще ощущать что либо.

Но его психике, его внутреннему я, его бессознательному, которое (внезапно и независимо ни от чего) начинала господствовать, теперь было совсем безразлично до каких-то там желаний. Борис Донатович вообще, как будто, перестал на что-либо обращать внимание. Он теперь ощущал себя самым настоящим подонком. Мерзавцем. Проходимцем.

Ничто не способно было уже оказать на него хоть какое-то влияние. Он, Борис Донатович Мерлих, превращался в некое амебоподобное существо. И в этом своем состоянии, можно было сказать, что и был он естественным. Без прикрас, и без той заретушированности, что приставала к нему за время жизни, и благодаря которой он мог казаться человеком. На самом деле Борис Донатович Мерлих был полное ничтожество. Негодяй и подлец. Из плоти и крови. Подонок...

Впрочем, таким он на самом деле был. И даже понимал о том сам. Но это совсем не значило, что таким его знали другие. И ведь даже - совсем не знали. В представлении большинства (а мимикрирующая способность Бориса Донатовича была такова, что даже близкие, иной раз, не представляли что из себя представляет Мерлих) наш герой был человек, погруженный вглубь себя. Привыкший заниматься своим делом (любопытно, что мало кто знал - каково оно?), не вмешиваясь в дела окружающих.

Скромный. Застенчивый. Немного заикающийся, щедушный человек. Этакая, никому не мешающая, трава. Растение. Иной раз, правда, невероятно разрастающаяся какими-то сорняками. Но это уже, вероятно, некое, присущее подобным людишкам нравственное убожество. И, не более.

И вот таковым субъектом был наш герой. Который сейчас, после очередного случившегося с ним запоя, уже несколько суток сидел понурый. Лишенный, каких-либо желаний, стремлений, возможностей.

А потом Мерлих уснул. Он спал, и видел сны. И снилось ему, что он стал совсем другим человеком. Изменился. И фантазийное бессознательное настолько (все больше и больше) приобретало над ним свое воздействие, что Борису Донатовичу внезапно захотелось (своеобразный сон - во сне) - и вовсе не просыпаться.

Но так, конечно же, было не возможно. Потому как уже ждали его самые суровые будни. И еще неизвестно, что было на самом деле страшнее. То, что было в прошлом. Или, что высвечивалось в будущем. Борис Донатович даже этого не знал.

Да и мы, впрочем, тоже.

Глава 6

Но вот чего поистине боялся Борис Донатович, так это возникновения состояний той необъяснимой тревожности, перед которой он оказывался совершенно беспомощным. Она напознала на него как-то внезапно и неожиданно. К ней совсем невозможно было подготовиться. Но даже если бы и случилось подобное, то это еще совсем не означало, что можно от нее избавиться.

Тревожность, в свою очередь, вызывала почти не прекращавшееся беспокойство. И у Бориса Донатовича разом пропадал интерес к жизни. Как-то быстро исчезала способность к сопротивлению (да и, по сути, никогда и не было таковой). И тогда Борис Донатович Мерлих являл собой поистине жуткую (и ужасающую) картину. Картину полного погружения в себя. В свои страхи (тоже не заставлявшие себя ждать), кошмары, и фобические ужасы того беспокойства, которые являлись следствием разрастания в нем (в его психике) ростков тревожности.

.....

Когда случалось подобное (не всегда, но с каждым годом все чаще), Мерлих совсем переставал заботиться о себе. Жил он один (несмотря на возраст - и женат-то никогда не был), и это в какой-то мере еще более усиливало проблему. Проблему, о которой Борис Донатович имел достаточно призрачное представление. Он как бы только отмечал про себя (и информация тотчас же отправлялась в подсознание) следствие случившегося с ним. И у него совсем не было сил (желания, возможностей), обращать внимания на детали. Одежда, речь, даже мысли разом приобретали какой-то хаотичный порядок. Порядок следования чему-то беспорядочному. В пределах нескольких секунд в нем могло родиться с десятков противоречащих друг другу желаний. От которых он тут же отказывался, потому как рождались желания новые.

Можно было даже сказать, что в этот момент Мерлих нисколько не отдавал себе отчет в происходящем. Но почти точно также, он и не оказывался способен следовать своим беспорядочным мыслям. Что бы сделать хоть что-то.

И тогда он на все время обострения заболевания помещал себя в замкнутое пространство. Коим, например, являлась его квартира. Точнее - одна из комнат ее.

Потому как, несмотря на возможность хоть часть времени проводить в другой (из двух его), у Мерлиха совсем не было желания перемещаться куда-нибудь за пределы ее. За пределы даже кровати, на которой лежал он, не вставая. А если быть еще точнее, Мерлих только изначально помещал свое тело на кровать. Потом он сползал под нее. И уже находился там до самого исчезновения страха; страха, являвшегося следствием и тревожности, и беспокойства, и вообще черт знает чего.)

.....

Не было Мерлиху спасения. Не представляло в его затуманенном сознании какой-либо возможности прекратить страдание. Закончить мучения. Изжить симптоматику возникновения тревожных состояний. Которые, казалось, были навсегда с ним. Но потом внезапно проходили. Уходили. Причем сам Мерлих никогда не задавался вопросом: куда? Он все же был достаточно осторожным человеком. И предпочитал до поры до времени не думать о случившемся с ним. Вполне, быть может, и оправданно опасаясь повторения чего-то подобного.

Но уже как бы то ни было, это самое повторение все равно наступало. И Борис Донатович Мерлих вновь оказывался безоружен перед ним. И точно также мучился, страдал, и исходил слезами отчаяния от осознания своей полнейшей неспособности предотвратить наступление подобного; и от ощущения своей полнейшей ничтожности перед ним.

Глава 7

А иногда... иногда ощущал себя Борис Донатович абсолютной сволочью. В эти минуты (плавно переходящие в часы, дни, иногда недели и даже месяцы) ему совсем никого не хотелось видеть. Почти точно также, как в периоды его страхов, беспокойств, и тревожностей. Только на этот раз подобное было совсем иное состояние. А причина заключалась в том, что Борис Донатович внезапно как бы начинал ощущать мнимость, призрачность, собственного бытия. И уже ничто не способно было разубедить его в подобном убеждении. Ничто. А то и наоборот, словно в подтверждение, внутри, в самых глубинах психики, назревал самый настоящий конфликт. Конфликт, главными действующими лицами которого были совесть, честь... беспокойство. И - вина.

Именно вина, чувство вины, как подозревал Борис Донатович, была, своего рода, инициатором происходящего. От этого чувства (патологического чувства вины) совсем нелегко было избавиться. А то и почти невозможно. И не потому, что вина была производным совести. Точнее, не только потому. Но и ситуация значительно осложнялось тем, что вина никогда не подчинялась никаким правилам. И уходила, и приходила по распорядку, удобному ей. Совсем не нуждаясь в какой-либо борьбе с самой собой. Да и была она, по сути, всегда какой-то... неощутимой. И при всякой опасности исчезала. Чтобы потом вернуться вновь. (Но чаще всего возвращалась уже не одна. Призывая на помощь любые возможности, которые предоставляла сама патология сознания.) И стоило у Бориса Донатовича

зародиться желанию как-то прекратить собственные страдания, тотчас же вина (не важно за что) уже грозила исчезнуть.

Но лишь только грозила. Потому как вина с недавних пор получившая полное право собственности в душе Борисам Донатовича Мерлиха, с тех пор уже не исчезала. Она, быть может, только затихала на время. Превращалась (почему бы и нет) во что-то неощутимое. Необъяснимое. Неизведанное. От которого, впрочем, наутро болела голова. А внутри начиналось еле слышное покалывание. Содрогание оболочки. Как будто и сердце, и почки, и легкие, и мозги, и... -- начинали перестукиваться между собой. Большею частью даже- неощутимо. И при этом и сам Борис Донатович внезапно (внезапно - потому как совсем нельзя было различить начало происходящего) начинал подчиняться каким-то необъяснимым подергиваниям внутри себя. Подчиняться тревожности. Чувство вины рождало тревожность. И с этим ничего нельзя было поделать.

А еще, бывало, у Бориса Донатовича действительно пропадало желание бороться за жизнь. Но, вылиться во что-то конкретное такое желание не могло (кроме как привести к еще большему возрастанию внутреннего конфликта). Не могло потому, что был он слишком слаб, чтобы как-то попытаться прекратить свое существование. Но еще вероятней, что на каком-то этапе такого существования Борис Донатович начал даже испытывать что-то типа удовольствия. Быть может, пока не объяснимого. И даже ему оно пока могло не нравится. Совсем не нравится. Но и без него он как будто уже не мог. Не был способен.

А один раз, когда внутренняя умиротворенность (которая, заметим, тоже иной раз случалась; раньше - больше; теперь -

меньше) затянулась, Борису Донатовичу показалось это как-то неестественно долгим. И он был, чуть ли не вынужден вызвать чувство вины. Чтобы хоть как-то остудить себя.

Но это оказалось сложно. Криво усмехнувшись (сколько раз ощущение вины приходило само, наплевав на планы Мерлиха), Борис Донатович начал вспоминать печальные жизненные ситуации, о которых он раньше, вроде как, стремился забыть. И тотчас же чувство вины не заставило себя ждать.

Тогда все становилось на свои места. Места, конечно, достаточно искаженные по содержанию. Но иного, как говорить, не дано. Поэтому самым разумным, как посчитал Борис Донатович, было смириться с происходящим. Что он, собственно, и сделал.

А как было иначе?..

Глава 8

Но, несомненно, одним из самых жутких страхов у Бориса Донатовича являлось состояние, когда он замечал, что кто-то еще есть рядом.

И при этом, конечно же, никого не было. Сколько раз, бывало, Борис Донатович оглядывался, в тщетной надежде обнаружить хоть кого-нибудь. Но этот кто-то всегда самым удивительным образом исчезал. Хотя и Борис Донатович знал что этот кто-то был, существовал. Его незримое присутствие Мерлих чувствовал рядом с собой. Причем совсем невозможно было определить, кто это был на самом деле. Быть может он находился совсем даже не сзади, как до того почему-то считал Мерлих. И не сбоку. И что наверняка, этот кто-то находился не в пределах

видимости. Его совсем невозможно было заметить. И бывало, на неудачное в итоге обнаружение двойника (у Бориса Донатовича были все основания полагать, что этот кто-то был двойником) у Мерлиха уходило все свободное, -- бывало, и не только свободное,-- время. После чего (попытка признавалась неудачной), настроение Бориса Донатовича менялось невероятнейшим образом. А иной раз становилось до того грустно и обидно, что Мерлиху хотелось заплакать. Что он, признаться, иной раз и делал.

.....

Но проходило время, и Борис Донатович Мерлих вновь принимался за поиски. Безуспешные, по сути. Бесплезные, по результатам. И...безнадежные,--в своей безнадежной безнадежности...

И уже совсем невозможно было ничего поделать. Разве что - смириться...

Глава 9

Кстати, со временем некогда суматошные поиски своего несуществующего (как уже начал подозревать Борис Донатович) двойника стали приводить к каким-то результатам. Пока еще нельзя было утверждать, что он действительно его нашел. Загадывать наперед, а тем более говорить неправду, Борис Донатович не любил.

Но в иные мгновения (когда реальный доселе мир начинал приобретать абстрактные позиции) Мерлих уже почти не сомневался: он не только не один, но и тех, других, было несколько.

По крайней мере, они представляли перед Борисом Донатовичем в разных обличьях. И, наверное, достаточно сложно было бы сказать, сколько было их еще: один - или действительно несколько. Например, сам Борис Донатович видел двоих. А потом - еще одного. И это, что надо заметить, помимо того, первого. Так что, вполне можно было говорить о... Ну, не мог же он ошибиться? Причем, даже по внешнему виду все замеченные им отличались друг от друга. И... от него.

.....

Самый наглый, конечно, был тот, которого про себя Мерлих обозвал Злодей. Это был невероятно раздувшийся тип, с черными тонкими усиками офицера-белогвардейца, и лицом, как минимум, мерзавца. Хитрые, бегающие глазки дополняли картину, и, невероятнейшим образом оттягивали желание Мерлиха видеть этого типа еще.

Тот, впрочем, словно заметив производимый эффект, практически перестал попадать на глаза. Хотя, чем старательнее он скрывался, тем больше у Мерлиха рождалось ощущение его присутствия. Как будто этот Гад (или, все же, Злодей) находился не только рядом, но и, словно все время за спиной. Дышал в затылок. Ловил каждый вздох, выражение лица, периодически случавшийся (чего, стоило признать, Борис Донатович всегда стеснялся) нервный тик (лицо Мерлиха в таких случаях перекашивалось в нервной усмешке). Ничто не ускользало, казалось Мерлиху, от Злодея. Поэтому самое место ему называться не злодеем, а самым настоящим мерзавцем. Если бы... такого не было.

Мерзавец (которого так окрестил Борис Донатович), был невероятно длинным, худым, костлявым... мерзавцем.

Так получилось, что с недавних пор, все свои неудачи Мерлих списывал на него.

Если Бориса Донатовича кто предавал - он знал кто. Если Бориса Донатовича обманывали - знал с чьей подачи. Если Борис Донатович попадал в настоящий жизненный тупик - знал кто этот тупик инсценировал.

И выходило так, что эти двое (Злодей и Мерзавец), как-то удивительно дополняли друг друга. Вернее, дополняли бы. Если бы не было Негодяя.

Этот третий был на самом деле Негодяем. Откровенным. Если требовалось кого-то (известно кого!) предать, - предательство было заказано. Если в чем-то зарождались сомнения, почти наверняка таковые сомнения оборачивалось не в пользу Бориса Донатовича. Если какая, предательская, мыслишка пробегала где-то рядом, Негодяй приглашал ее заглянуть к Борису Донатовичу Мерлиху.

Да, быть может, и то ощущение собственного ничтожества, которое все чаще сосредотачивалось вокруг Мерлиха, каким-то непеременимым образом следовало искать в присутствии этих трех Я Бориса Донатовича. Трех его основ сознания. Внезапно перевоплотившихся в действительность.

Но, пожалуй, самым удивительным было то, что в последнее время Борис Донатович Мерлих стал испытывать необъяснимое желание увидеть этих трех - разом, вместе. И оказалось это еще и удивительным, потому как в этом желании почти не было... самого желания. Нет, конечно, подобное желание

явно угадывалось; а то и - до боли отчетливо; но... На самом деле, никакого желания не было. Были какие-то неосознанные позывы, продиктованные, быть может, какими-то деструктивными позициями; но - не больше.

И уже тут нам бы хотелось предостеречь удивленного читателя: Борис Донатович Мерлих совсем не хотел (да и не имел привычки) кого-то запутывать. Просто так выходило, что начал теряться он сам. Через время уже и махнув рукой на какую-то попытку разобраться. Да и в чем? В чем ему необходимо было разбираться? Ведь вполне могло быть, что все виденное им таковым, как привиделось ему, не являлось. А уже напоминало, скорее, сон. Или потусторонне-ирреальное бодствование.

И уже можно было и вовсе оставить все в том виде, как оно и было. Если бы... если бы не стала вся троица являться Борису Донатовичу все чаще и чаще...

Сколько сил, бывало, уходило у Мерлиха, чтобы избавиться от подобного рода ощущений (в то, что эти гады были на самом деле - Мерлих до сих пор сопротивлялся верить). Но, -- и не хотел верить, да был вынужден...

Впрочем, иногда ему удавалось. И тогда как бы разом все прекращалось. Прекращались видения Мерлиха. Но это совсем не означало, что исчезала проблема. Да и стремление еще больше упрочить свое положение (ситуацию, когда оставался он один), к сожалению, вскоре приводило к совсем обратным последствиям. А эти гады вновь появлялись перед ним. Уже даже не в подсознании (откуда они появлялись, и куда - уходили). А, как бы и еще более явственно заявляя о себе. А то и, вставая в полный рост, хихикали, любуясь собой. И ведь действительно, это было

очень характерно для негодяев. Именно - любуясь; любуясь - произведенному эффекту.

И уже эта троица, казалось, совсем и не была какой-то ирреальной. (Былым детищем фантазии Мерлиха.) А теперь они представляли довольно таки реальных субъектов, которые проявляли удивительное единство, перемигиваясь и перешучиваясь между собой.

Что это было такое? Насколько долго могло продолжаться подобное? Насколько оно вообще было устойчиво?

Трудно было ответить на эти вопросы. Да и, должно быть, невозможно.

А потому вскоре Борис Донатович смирился с происходящим. И теперь откровенно скучал, когда не сразу замечал кого-нибудь одного из них. Злодей, Мерзавец, и Негодяй каким-то невероятнейшим образом слились с ним в единую суть крайней убогости, надо заметить, мировоззренческих позиций. А еще через время, Борис Донатович и вовсе перестал замечать их. Став... одним из них...

Глава 10

Несмотря на достаточно внушительное число наличия отклонений в собственной психике, Борис Донатович никогда и никоим образом не был согласен на проведение какого-либо лечения, считая эту процедуру, по меньшей мере излишней. Он даже боялся какой бы то ни было диагностики. Рассматривая посещение психотерапевта, психиатра, или психолога чем-то, по меньшей мере, не нужным и не обязательным.

Тогда как подобное посещение все же состоялось. Что, вероятно, показалось удивительным и для самого Мерлиха. И уже словно в качестве защитной реакции психики рассматривал он такой свой шаг, как некое удивительное приключение, случившееся с ним.

Нет, конечно, достаточно поспешно было бы утверждать, что Мерлих не согласился ни с одним из предложенных ему результатов обследования. Совсем даже нет. И инстинктивно ограждая себя от продолжения подобных исследований, и даже ругая их, Мерлих, тем не менее, понимал: эти врачи да психоаналитики, -- правы. И ему следует действительно срочно заняться своим здоровьем. Но вот только понимать-то понимал, но предпочитал оставить все - как есть. При этом, чего он на самом деле боялся, сказать было трудно. Как он, впрочем, объяснял сам, - - опасался изменений в сознании. В осознании жизни. Ошибался? Да, быть может, и нет. Но, вероятно, психотерапия на то и направлена, чтобы, добившись изменения в сознании, и отдалить это самое сознания от ошибочной оценке действительности. А этого Мерлих не хотел.

Что до того, какие изменения в собственном сознании последуют? Этого Борис Донатович не знал. Но уже изначально боялся. Боялся, с самым настоящим (даже максимальным, по степени выраженности) проявлением страха. Страха... Того страха, который, в принципе, у него присутствовал всегда. И чего он мог добиться? Призрачной надежды на изменение психического восприятия бытия? Или появления нового страха? Теперь уже страха за последствия процедур.

Что было лучше? Можно было, конечно, согласиться с одним из специалистов, считавших, что подобная реакция Бориса Донатовича, лишь вполне закономерное проявление сопротивления (защитной реакции психики). Но разве это что-то меняло? Тем более, о чем-то подобном догадывался Мерлих и сам.

И он решил положиться на проявление интуитивных подсказок организма. Психики. Собственных, уже устоявшихся, взглядов на окружающую действительность.

Так зачем же было что-то менять?. Тем более он и к своим странностям уже привык. И даже не считал их такими уж странностями. Так... Чем-то вроде особенностей организма... Индивидуальных особенностей организма...

А потому Борис Донатович решил тут же забыть посещение специалистов; а заодно и перестать общаться с одним из своих знакомых (некогда считавшимся даже, то ли другом, то ли близким товарищем), собственно и инсценировавшим подобное посещение.

Кстати, что касается знакомств, то мы тут вполне можем заметить: потеря очередного знакомого означало уже и вовсе одиночество Мерлиха. Ибо у него была одна очень удивительная особенность: насколько быстро он с людьми сходиллся - настолько же быстро и разрывал отношения; причем, зачастую, без какого-то конкретного повода; ориентируясь, скорее, на свои какие-то домыслы и предположения, нежели чем на реально существующее положение дел.

И уже так выходило, что каким-то образом, после недолгого общения, перед Мерлихом открывалась истинная сущность своего недавнего знакомого. И он бежал от него со всех

ног. Потому как начинал подозревать недавнего товарища в самых страшных грехах.

.....

Насколько можно было быть уверенным, что Мерлих отдавал себе отчет в происходящем? Сказать, что не отдавал, - значит заранее расписаться в его несостоятельности, и наличии у него, скажем, мнительности и подозрительности. Но и говорить другое тоже не хотелось. Ведь у Мерлиха действительно была патологическая психика. И скрывать он это мог только от самого себя. Окружающие в подобном не сомневались.

И вот разрешало подобную парадигму, как ни странно, мнение, как-то высказанное самим Борисом Донатовичем. А он, ни много, ни мало, предлагал оставить все как есть. То есть, считать в себе наличие чего-то такого, недостаточно объяснимого; и уже именно эта необъяснимость самым удивительным образом должна была объяснить... в общем,-- должна была объяснить все что угодно; все, что только можно; все, что и вообще, могло когда быть.

А значит Борис Донатович Мерлих как бы автоматически получал индульгенцию на все свое дальнейшее поведение. С чем он, вскоре, себя и поздравил.

На сколько уверенно можно было сказать, что Борис Донатович находился в единении (гармонии) со своей психикой? Да, в принципе, вполне так можно было утверждать. Точнее, можно было бы утверждать; если бы не эти состояния внезапной тревоги, которые, смешиваясь с другими состояниями симптоматики психических расстройств, приводили, иной раз, и к вовсе неожиданным результатам. Точнее, - результатов, как

таковых, не было вообще. А было, что-то и вовсе невообразимое. От которого Мерлих (в безуспешности страдания), не знал куда спрятаться. 'Но это ведь вполне закономерный итог', -- как съязвил тот самый отвергнутый знакомый, в ответ на настойчивое приглашение, -- был он врачом-психиатром, -- пойти к нему полечиться, обещая забыть прежние обиды, выразившиеся, как мы помним, в проклятиях, которые Борис Донатович, нисколько не стесняясь в выражении своих эмоций, посулил незадачливому помощнику.

Но это уже было так... Следствия, да закономерности...

Глава 11

Кстати, что мне особенно нравилось в Борисе Донатовиче, так это как раз и присутствие в нем удивительного сочетания патологичности характера - с какой-то, иной раз и необъяснимой, ясностью ума.

И только на первый (поверхностный) взгляд Борис Донатович оказывался понятен. Стоило только чуть понаблюдать за ним, и вы уже не могли отделаться от ощущения сопричастности к какому-то сумасшествию. Ощущая, что еще немного, и начнете сходить с ума сами. Притом что Борис Донатович в это время мог чувствовать себя прекрасно.

Нет, конечно, без всяких сомнений, его можно было причислить к людям, погруженным исключительно в свой внутренний мир. Он и на самом деле большую часть времени проводил там. Но, случалось, как будто что-то находило на Мерлиха, и тогда он начинал демонстрировать свойства характера,

совсем как будто и не свойственные ему. Противоположные его замкнутости. И с этим тоже надо было, как минимум, считаться.

Немотивированные вспышки агрессии, ярости, откровенные желания нагрубить, нахамить, обозвать, перемешивающиеся с откровенным сарказмом - характеризовало его в этой ситуации; и при этом - подобное все Борис Донатович делал достаточно искренне. Словно всегда был именно такой. И смею уверить, ни у кого из хотя бы незначительное время знавших его (кто знал долго - успел привыкнуть), не возникало и желания удивиться, куда же делся тот флегматичный интроверт, который только недавно казался забитым и покинутым?. Человек, опасющийся ненароком обидеть кого даже взглядом. И теперь проклинающих всех самыми грубыми словами.

В этом был Борис Донатович.

Часто думая о нем, я склонялся к мысли что его занятия философией (коей он увлекся, мне показалось, достаточно серьезно), в какой-то мере, лишь усугубляло проблему. Нахождение в вечном поиске себя еще больше (больше, чем что-либо) погружало его в свой внутренний мир. И требовались почти невозможные усилия, чтобы извлечь его наружу; при этом сам Борис Донатович невероятно сопротивлялся подобному желанию кого-либо; тогда как, приходил к заключению я, все эти вспышки агрессии ничего иное как взрыв накопившейся энергии. То, что у других могло находиться в каком-то равновесии,- в случае с Мерлихом, явно сдвигалось в одну сторону.

Ну и, конечно же, все эти вспышки, да взрывы (каждая вспышка, напоминала детанированный взрыв), были, как мы уже

заметили, защитной реакцией организма. Реакцией -- так похожей на сумасшествие.

Сам, кстати, Мерлих так не считал. В те редкие, даже редчайшие, минуты, когда удавалось его выманить на действительно откровенный разговор (хотя уже любой разговор, в случае с ним, был откровенный. Мерлих никогда не лгал), мне приходилось чувствовать себя самым настоящим подлецом. Как будто обидел я ребенка-младенца. Потому как, стоило Мерлиху только начать говорить, и уже разом отпадали сомнения в какой-либо его неискренности. А значит, -- и нечестности. А какое-либо присутствие тайного умысла (распознаванием которого в других, я, бывало, грешил), в случае с ним было и вовсе неуместно.

Он был честен, искренен, и - невероятно глуп. Точнее, от чего-то стремился казаться таким. Быть может, чтобы его зря не беспокоили?

Причем, по настоящему какой-то глупости в его мыслях было немного. А вот в поступках... Житейские поступки (регулирующие нормы поведения в социуме), тотчас, к сожалению, принимали, по меньшей мере, странный характер; можно даже сказать, они были необъяснимы по характеру как самих действий, так и последствий, которые вызывали совершением их.

Но как раз в поступках своих (что наглядно проявлялось, в отличие от мыслей), Борис Донатович Мерлих был сродни ребенку. Причем, малому ребенку. И наверняка зная это, Мерлих все больше и больше отдалял себя от каких-либо контактов с внешним миром. Например, как-то Борис Донатович оказался на симпозиуме (выступление его там - отдельная тема; лишь только

подошла его очередь выступать - он сначала покраснел, потом - после явно затянувшейся паузы - произнес несколько слов, переживывая эти самые слова самым бесцеремонным образом. А потом и вовсе впал в ступор. И больше никто не смог из него выжать ни слова), -- так вот, оказавшись на симпозиуме, который проходил в другом городе, Борис Донатович внезапно хватился денег. Их не было. Паспорта тоже. Нагрубив в гостинице (заметив пересмешки в ответ на просьбу устроить его и так), Мерлих с трудом дал уговорить себя разместиться на ночлег у одного из местных коллег-философов (у того тоже был заготовлен доклад. Кстати, и доклад свой, Мерлих тогда потерял. А говорить экспромтом, он никогда не умел).

Вернувшись из командировки, Борис Донатович тотчас же поспешил на почту, дабы выслать деньги (которые, поддавшись все тем же уговорам от коллеги, взял на обратный билет). А уже на подходе к Главпочтамту, понял, что не взял у коллеги адрес. На следующий день, Борис Донатович все же выслал деньги. Но вот куда? Это было поистине загадкой. Нет, адрес он все-таки нашел (справившись в институте, в филиале которого и работал его благодетель). И даже действительно отправил деньги. (Причем, забыв сумму, которую был должен, он выслал почти вдвое больше; правда, почему-то, двумя переводами.)

Коллега, надо заметить, деньги получил. О чем тотчас же поспешил сообщить Мерлиху, догадываясь о невротических свойствах характера того. Но в том то и дело, что это был только один перевод. Второй - попросту исчез. (Оказалось, на одном из переводов Борис Донатович забыл указать полный адрес. И со

временем деньги все же дошли. Но только со значительным опозданием.)

И все это время (почти месяц), Мерлих ходил сам не свой. Ужасно переживая, и ругая во всем себя.

Впрочем, подобный перевод, лишь капля в море житейских неудач Мерлиха. И в отдельных случаях ему самому казалось настолько все нереальным, что закрадывалось подозрение о вполне сознательном изображении Мерлихом пародийности собственной жизни. Хотя он на самом деле даже никогда не шутил. Просто неприятности притягивались к нему. И он не в силах был им сопротивляться.

И уж тем более у Мерлиха никогда не было даже подобия какой-то игры. Он всегда не только был серьезен, но и считал иное отношение к жизни и вовсе не уместным. А потому и страдал. И уж если у кого действительно возникало желание попытаться разобраться в типичности его натуры, то следовало скорее примерить к Мерлиху маску именно патологической личности. Как наиболее схожую с ним.

Однако и тут, по всей видимости, не следовало быть столь категоричным. Иной раз Борис Донатович производил впечатление очень даже нормального человека. Но тогда уже, и в этой его нормальности (положа руку на сердце) скорее все же просматривались черты паранормальности. Что, в принципе, только увеличивало интерес к его персоне.

И уже тогда - вполне можно заключить, что Борис Донатович Мерлих обладал одним удивительнейшим и редчайшим качеством: он позволял каждому видеть в нем - самого

себя. И в этом, на мой взгляд, и заключалась притягательность его фигуры.

23 апреля 2005 год.

повесть

Наедине с собой

«Одновременно с легким головокружением к нему пришло ощущение новизны...»

Воннегут

Пролог

Я, конечно же, не мог подумать, что на самом деле будет так плохо.

Никогда подобного еще не было.

Но именно сейчас обстоятельства складывались таким образом, что я просто обязан принимать условия, навязываемые мне, как будто бы, самой природой.

Хотя, что это было? И действительно ли я обязан был (уже получается - обязан?) принимать навязываемые мне со стороны правила игры?

Этого я действительно не знал.

Как не знал и того, что из себя на самом деле представляю я сам. И отчего-то мне все время казалось, что в последний момент все еще может измениться. А то, что происходит сейчас со мной... так происходить не должно. Почему-то мне казалось, что не должно. Хотя на самом деле - вряд ли я отдавал отчет в том, что

в реалии со мной происходило. Ведь могло так случиться, что на самом-то деле ничего и не происходило. А что случилось - служило невольным поводом к чему-то подобному. Что так и осталось этим 'чем-то'. Неуверенным и непонятым...

.....

Я вконец запутался. Словно переживая за то, что все обстоит именно так, а не иначе.

И чем больше я думал об этом, тем на самом деле мне становилось хуже. Еще хуже. Хотя, наверное, хуже, чем было теперь - уже и не могло быть.

.....

Можно было спросить: к чему я стремился?

Можно было постараться забыть что-то подобное. Быть может даже - спрятаться от него. Закрывшись внутрь себя. И словно бы намеренно предпринимать нечто, что не мешало бы мне.

Как минимум не мешало.

Но если рассудить, что это все действительно было так? Если я просто обязан был принять во внимание как раз именно такой расклад. То не означало ли это, что ничего со мной в реальности и не происходило. А все это было - игра воображения. Потому что у меня совсем скоро не оказалось и тени сомнения в том, что я делаю что-то не то. Не то и не так.

Что мой мозг, заметно перегруженный закачиваемой в него в течении жизни информацией, теперь выдавал нечто иное. Непохожее ни на что. А я пытался ловить и анализировать эту информацию. Изначально уже как вроде бы и убеждаясь, что все это бесполезное занятие. Глупое и ненужное. И тогда уже я сам

(как бы вследствие этого) ни на что не способен. Не был способен. Хотя, наверное, нельзя было утверждать, что я совсем не противился подобным обстоятельствам.

Но такова была жизнь. И, по крайней мере, пока - изменить я ничего не мог.

Да и был, наверное, не способен...

.....

Не способен хотя бы потому, что не было у меня такого желания. Желания противиться чему-то. Чему-то тому, что существовало во мне. Того желания, которое во мне существовало. Ибо оно уже как бы изначально противоречило всему, мной когда-то загаданному. И - загадываемому.

И тогда уже чаще всего получалось с точностью наоборот. И если я к чему-то и стремился, то это стремление было неким долгом памяти себе. Тому человеку, который еще с недавних пор существовал во мне. И который управлял моими поступками, возможностями, желаниями.

Желаниями, которых на самом деле почти и не было.

А что тогда было?

.....

На самом деле ничего не было. И лишь только где-нибудь на заднем плане - был я. Длинный, худой, нескладный. Сутулый. Тогда я еще был сутулый...

.....

И должно быть, самое оптимальное было бы для меня жить где-нибудь в недрах земли. Ну, хотя бы, в пещере. Чтобы лишь иногда (и, зачастую, ночью) выползать наружу. Да и то,

наверное, лишь только затем, чтобы до конца не забыть - что существует еще и другой мир.

Мир, который большей частью я ненавидел.

Мир, который каким-то образом приносил мне лишь одни несчастья.

Мир, - частью которого был я сам. Но словно бы упорно пытался это отрицать.

Часть 1

Глава 1

Маленьким Виталик Михеев себя не помнил.

Точнее, помнил, конечно. Но он не совсем помнил свои душевные переживания в то время. А он непременно был уверен, что те были. Зато лет с двенадцати...

Это был как раз возраст, с которого мы должны неким образом начать повествование. Хотя, собственно, начали мы его с момента, когда Виталию Германовичу Михееву было уже сорок пять. Вполне, можно заметить, приличный возраст. Особенно если учесть, что прожил Виталий Германович лишь чуть больше.

И тогда уже мы попытаемся неким образом проследить именно состояние его души. Обхватив как раз всю его жизнь. Но, более подробно, остановившись всего на пяти этапах его жизни: двенадцать, семнадцать, двадцать два, тридцать и сорок пять.

Все же, что было вокруг этого, неким таинственным образом лишь дублировало и еще четче очерчивало обозначенные нами периоды.

В двенадцать Виталик Михеев уже помнил себя достаточно хорошо.

Не сказать, при этом, что он как бы нарочно остановился именно на этом жизненном периоде. Скорей всего это вышло как-то случайно. И что уж точно - по совсем независящим ни от кого причинам. Как и от независящим от него. Ибо Виталик Михеев (а особенно в том возрасте, о который мы ведем сейчас речь) старался совсем не загадывать, почему все происходило так, а не иначе. Хотя уже от себя мы могли бы добавить, что иначе - просто ничего и не могло произойти. И даже если бы в свои двенадцать Виталик начал бы совсем другую жизнь...

Но он же ее не начал!? Вернее, он-то как раз выбрал ту жизнь, которая у него и была. И вот неизвестно почему, но он почему-то и не мечтал о другой жизни. Словно бы та жизнь, которая у него была, его устраивала.

Но мы то знали, что это было не так.

Как знали и то, что (по крайней мере, в мыслях Виталика) он хотел ее изменить. Хотел бы - если бы знал как.

Но он не знал.

Совсем не знал.

Ничего не знал.

Почти ничего. Ибо на самом деле что-то он все-таки знал. И уже быть может оттого - его жизнь неким удивительным образом стала подстраиваться под кальку, уготованную Виталику судьбой. Если принять за аксиому тот факт, что нашей жизнью управляет как раз судьба.

Но... вот не знаем мы, если честно, что думал об этом Виталик. Было лишь известно, что он достаточно уверенно шел к поставленной цели. Цели - поставленной им самим. И ни за что не

хотел (и не собирался) изменять этой цели. Притом что сама цель, конечно же, так толком и не сформировалась в его душе.

Душе, - которая с каждым годом все больше и больше испытывала на себе давление от того, что мир, в который иногда погружался Виталик, казался ему каким-то мрачным и ничтожным.

И - несчастным. Конечно же, несчастным.

Хотя, наверное, от себя уже можем добавить, что несчастным был сам Виталик. Но он очень опасался сам себе в этом признаться.

Словно бы боялся нарушить то (достаточно зыбкое, по сути) душевное спокойствие, которое, наверное, все же (почему бы было не признать это?) было ему присуще.

.....

В своей ранней юности (детстве, по сути) Виталик Михеев больше всего любил бабушку. Мамину - маму.

Маму он тоже любил. Но мама Виталика была достаточно строгая женщина. И, в принципе, приучила его к тому, чтобы какие-то чувства не проявлять.

Проявление чувств - было слабостью. Так считала Виталика мама. Маме Виталика, в свою очередь, нечто подобное внушил ее папа. Дедушка Виталика.

Своего дедушку Виталик не помнил. Так же как и своего отца. (И отец и дед погибли в горах. Под лавиной. Когда в составе небольшой группы отправились покорять какую-то вершину. Все другие, кто был с ними, тоже погибли. Поэтому Виталику никто не смог рассказать, как погиб его отец. И уже быть может потому,

что сам он не видел его смерти, где-то в глубине души он считал, что отец еще жив. И когда-нибудь...).

.....

С мамой Виталик жить не мог. Между ними все время проявлялись какие-то стычки, конфликты, о чем Виталий Германович раскаивался всю жизнь. Всю жизнь...

Мама умерла от инфаркта, когда Виталику было восемнадцать. И почти год после этого Виталий пролежал в больнице. В психиатрической. А оттуда вышел уже совсем другим человеком. Черствым и жестоким. По крайней мере, так считала бабушка. Бабушка...

Время от времени Виталик останавливался у своей бабушки. Сам же он снимал жилье (для себя и жены). Жены, которая была такого же возраста, как и он. И которую он, наверное, все же любил. Хотя, по большому счету, не решался в этом признаться. Признаться, в том числе и себе. Да себе он почти никогда ни в чем и не признавался. Считая это чем-то ненужным и необязательным. А вот с другими...

Глава 2

Семнадцатилетним юношей Виталий считал себя уже вполне сформировавшейся личностью.

Насколько он ошибался? Да наверное не больше, чем все остальные подростки его возраста. Что и понял. Но уже, к сожалению, под конец жизни.

Именно тогда он понял, что судьба ему уготовила нечто иное. Быть может, по особенному забавное. Ибо получалось так, что в разные периоды жизни он считал, что никаких изменений

уже произойти было не должно. Но через какое-то время Виталий уже словно бы убеждался в обратном. И тогда уже, находясь где-нибудь в глубине себя, он отмечал, что мир вокруг него совсем другой. Не такой, каким он представлял его прежде.

И словно бы наблюдая за всем этим, Виталий признавался себе, что он уже ничего и не понимал.

А ведь и действительно не понимал...

И с этим тоже необходимо было как минимум - считаться.

Хотя, наверное, если бы это Михеев заметил не сам, а ему бы, например, кто-то о том сказал, - то он бы ни за что в это не поверил. И посчитал бы такого 'правдолюбца' как минимум чудаком.

Притом что вполне можно было допустить, что точно таким же чудаком считали Виталия. А он, словно бы нарочно, всякий раз подкреплял чье-либо подобное мнение соответствующим поступком. А потом удивлялся, когда слышал, что кто-то говорит о нем не совсем то, что было приятно Виталию...

Хотя... Мне почему-то казалось, что Виталий к этому уже должен был привыкнуть. Ведь вся его жизнь была каким-то подобием чего-то необъяснимого, неестественного. И что уж точно - непонятного.

.....

Но Виталий был именно таким. Наверное, странным. Странным, и... ранимым. Переживающим чуть ли не по каждому пустяку. Хотя считать так могут совсем уж черствее люди. Каким никогда не был Виталик. И это, наверное, было у него от бабушки. Ну и от мамы разумеется.

Но если мама Виталика научилась как-то справляться с собственными тревожностями (тревожность, заметим, как раз и было следствием беспокойства), то бабушка переживала за все искренне и всерьез. И, как говорится, до конца. Пока самой не становилось плохо. И ее приходилось отпаивать корвалолом. Или - валакардином. А чаще всего - и тем и другим. Потому что бабушка Виталика была до невероятности честным человеком. И совсем не умела лгать и приспособливаться. Всегда принимая происходящее слишком всерьез. И совсем не считаясь с тем, что от этого ей будет только хуже.

Таким же был и ее муж. Точно такой же - и мама Виталика. Таким же - и сам Виталик. Человеком, не привыкшим (и даже не допускающим что подобное возможно?) останавливаться, пасовать, перед трудностями; привыкшим идти до конца. До самого, что ни на есть, победного.

И вряд ли было возможно что-то иное.

Глава 3

Когда Виталию исполнилось двадцать два, себя он уже считал себя совершенно взрослым. Ну что уж точно, достаточно взрослым, что бы планировать свое будущее. Будущее, которое, все время казалось ему каким-то странным и замысловатым.

.....

По профессии Виталий Михеев был режиссер-документалист.

Но его хобби было - копание в архивах. И увлечение историей. Причем, по настоящему Виталий оживлялся (а значит, в

это время ему хотелось жить; в то время как чаще всего: не хотелось) - когда (обычно - совершенно случайно) находил что-то, что до этого каким-то образом было скрыто от глаз общественности.

И тогда он тотчас же делал об этом фильм. Сценарий, которого, зачастую, писал сам. Ну, или обрабатывал тот, который ему предоставлял один его знакомый. Почти такой же отшельник, как и он. Знакомый Михеева (по причине отсутствия своего жилья) жил в архиве.

.....
..

Фильмы у Виталия Германовича Михеева получались какие-то уж слишком мрачные.

Но такова, по-видимому, была жизнь. Жизнь, которую видел таковой Виталий. Отчего становилось ему грустно. Порою, очень грустно.

Хотя и еще более грустно становилось тем, кто смотрел фильмы Михеева. Ибо при создании фильмов Михеев выплескивал на пленку всю ту гадость, которое скапливалось внутри него. Отчего зритель тоже невольно должен был испытывать гнетущее состояние. Такое же гнетущее состояние, каковое и было у Виталия. Тогда как самому Виталию, вероятно, было (хотя бы на миг... миг...) хорошо и спокойно... свое гнетущее состояние.

А потом депрессивные состояния повторялись вновь.

А Михеев вновь стремился от них избавиться.

Стремился,-- потому что на самом деле это удавалось не всегда. И все чаще получалось так, что Виталик страдал.

Но избавиться от этого не мог. Да, быть может, и не пытался.

.....

Я знал Виталика на протяжении почти всей его жизни.

И даже тогда, когда меня не было с ним рядом, я знал как он поступит в той или иной ситуации. При возникновении той или иной ситуации. Которые иногда я и сам провоцировал. Словно бы желая убедиться в том, что мне действительно известно, как он поступит.

И уже могу сказать, что я практически не ошибался. И предсказывал поведение Виталика с точностью до поворота головы. Когда он - иногда - прерывал свою речь, чтобы осмотреться вокруг. В поиске меня, наверное...

Глава 4

Когда Виталику было тридцать, он уже был вполне известным (в узких кругах) кинорежиссером.

Хотя сам себя считал - 'никаким'. Ибо еще чуть раньше у него случился творческий кризис. И ленты, которые у него выходили (и вышли раньше),-- он считал откровенно неудавшимися. Отчего-то полагая, что только когда-то в будущем - начнется настоящее творчество. А все что было сейчас, было лишь - подготовкой к этому...

И сколько ни пытались разубедить его отдельные знакомые (знакомых, стоит признать, у него было немного),-- он им не верил. Притом что большинство из этих знакомых, были

честными людьми. Словно бы, просто 'обязанными' (в силу своей 'честности') говорить правду.

Хотя и правды на самом деле было немного. И, наверное, у них были все основания считать, что все что происходит - было неправдой. Ну, или, не совсем правдой. Потому что уж очень ранимо он относился к правде. Той правде, которая уже как вроде бы и не существовала.

Самое печальное было то, что Виталик всячески старался разобраться в том, что и как с ним происходило? Насколько все происходящее отвечало какой-то действительности? Насколько, наконец, было правдивым - все происходящее.

И иногда ему казалось, что таким оно не было.

Нисколько

Потому что... Да потому что на самом деле мучили Виталия Германовича Михеева самые настоящие проблемы. И проблемы эти касались, конечно же, исключительно его. Его самого. И он ни за что бы не 'поделился' ими еще с кем-нибудь. Потому что другим - Михеев не доверял. И относился к ним довольно-таки снисходительно. Как бы слушая их - 'вполуха'. Отвечая - вполголоса.

Ну а если попытаться разобраться - почему так происходило?

Так уже можно было сказать, что Михеев попросту боялся людей. Отчего-то считал,-- что те насмеются над ним. Относятся к нему снисходительно. Даже быть может - ненавидят его.

И думая так, Виталик Михеев даже очень расстраивался. Переживал. Невероятно переживал. И оттого становился еще больше - злой и нелюдимый.

А люди... Да быть может они и вправду смеялись над ним.

Но если позволяли себе это - то лишь только в душе.

Тогда как внешне, конечно же, все Михеева даже может и уважали. Не любили, - а именно уважали.

Потому что, наверное, догадывались, - что Михееву еще долго предстоит жить со своими проблемами. С теми проблемами, во власти которых он находился. Которым почти всецело подчинялся. И которые (проблемы, черт возьми), -- подчиняя себе Михеева - как будто и не считали это чем-то 'зазорным'.

И все происходило так, словно это и должно было быть.

И словно не могло быть как-то иначе.

И... Да Михеев ведь и действительно не расстраивался.

Ему удалось убедить себя, что как раз так все и должно быть. А почему?.. Так он над этим предпочитал и не задумываться.

Боялся? Да. Боялся. Но так ли стоит страх воспринимать как нечто ужасное, отвратительное, и для человека как будто совсем не нужное?

Конечно же, нет! Страх - это некое предупреждение человеку. И преодолевая страх - он просто становится один на один с опасностью. И не больше. Так почему же этого необходимо было бояться?..

Глава 5

Когда Михееву исполнилось сорок пять, он удивительным образом стал считать, что его жизненный путь завершен.

И как бы его не пытались переубедить, ни у кого ничего не вышло.

Михеев был, в общем-то, упрямым человеком. И если ему удавалось (не всегда, впрочем, удавалось) что-то 'вбить' себе в голову, то это находилось там достаточно прочно. И уже никакими доводами это было 'не выбить'.

Ну,-- так уж выходило.

Хотя, - почему так решил Михеев, стоило бы задуматься.

Но в том-то и дело, что Виталий Германович с детства никого не впускал в свой внутренний мир. Считая, что этот мир - только его.

Так что вот...

Часть 2

Глава 1

Нет, конечно же, все это могло давно уже показаться более чем странным.

Притом что мне иной раз казалось, что ничего в моей жизни и не было. А я словно бы начал жить только что. И если помнил что-то,-- то совсем был не уверен, что эти (мои?) воспоминания что-то из себя представляли. Ну, по крайней мере, мне отчего-то казалось, что я мог быть уверен в том, что не имею к подобным воспоминаниям никакого отношения.

Но так ли это было на самом деле?

А дело все в том, что Виталиком Михеевым был я. Ну, или,-- почти я.

Потому что на самом деле у меня была совсем другая фамилия. Но уже и здесь кое-что может показаться забавным. Потому что фамилия-то у меня раньше была как раз Михеев. И это я сам изменил ее. Вполне, разумеется, сознательно.

И за все время по настоящему раскаивался из-за этого только три раза.

Первый,-- когда моя 'первая любовь' специально вернулась в наш с ней родной город (Житомир - Одесской области), чтобы вновь признаться мне в любви. Ну, или, как минимум, 'отдаться'. (А я, признаться, до сих пор, вспоминая о ее теле профессиональной танцовщицы, замечал, как на меня накатывает желание; ибо в любви она была столь же неистова, как и в танцах). Но меня она, разумеется, не нашла. Из Житомира я давно уже уехал в Москву. Еще задолго до распада Союза.

А она... сначала она, по моему, работала по контракту в Японии. Потом где-то еще в Азии. Пока не вернулась домой.

Второй случай произошел почти недавно. Еще, наверное, не прошло и года. Ко мне в квартиру неожиданно ворвалась милиция, и заломив мне руки (обидеть художника может каждый),-- отвезли в отделение.

Где чуть ли не в течение часа мне пришлось убеждать их, что на самом деле моя настоящая фамилия всегда была именно Михеев. И я только недавно изменил ее, взяв другую.

Но менты не верили мне.

А один так и прямо утверждал, что он узнал меня. Я, мол, и есть (по его словам) - известный вор-рецидивист Червоненко ('угораздило же меня взять такую фамилию'), только вот (опять взгляд на меня) - зачем-то изменил 'некоторые черты лица'.

Мне вдруг показалось, что переубедить этих бравых оперативников не удастся. Разве что---

'Может ли кто-нибудь подтвердить ваши слова'? -
пришедшая ко мне мысль слилась со схожим вопросом
лейтенанта.

'Да, да, конечно', -- уже чуть ли не вскричал я (в моей
памяти как минимум всплыло несколько имен), -- но тут же я
обреченно опустил голову, обхватив ее руками, и чуть не
скатившись со стула вниз.

Дело в том, что те, кто знал о моей прежней фамилии (и,
собственно, об изменении ее) - сами были не очень благонадежные
- для подтверждения сего факта - люди.

У них у всех были судимости. Пусть и за хозяйственные
преступления (да еще и против собственности государства,
которого уже не было), -- но... Но мне это показалось провалом.

И быть может, оставалось только признать, что и на самом
деле я - вор-рецидивист Червоненко (фамилия то же, не ахти
какая). И взять на себя все преступления, которые совершил он. И
покаявшись за них, попросить - за него - прощения у всех людей,
которых он когда-то обокрал. И вместо него (но как бы уже - за
него) отправиться на этап.

Да и вообще, наверное, начать жить его жизнью. А он -
если узнает об этом - то вполне может и моей.

И неизвестно какая в мою голову готова прийти очередная
мусть, - но я вдруг услышал мат какого-то майора. Который кричал
что-то типа того, что выгонит всех; и был недоволен, что не сняли
какие-то 'пальчики'. И не заставили меня играть на каком-то
'пианино'. (Уже после я узнал, что это - проверка на отпечатки
пальцев).

А потом все стало на свои места. Передо мной извинились (по скорому, и смущенно). А я действительно после этого задумался: так ли уж стоит мне брать чужую фамилию?

И не следует ли вернуть свою.

Но не мог же я ее вернуть. Ведь вполне однозначно, в памяти ряда людей - существовал Виталий Германович Михеев. И он - был я. Только теперь моя фамилия не Михеев. И даже уже не Червоненко. Потому что я вновь изменил ее.

И даже уже не особо-то и раскаивался, когда произошел третий случай, которым, конечно, раскаяться было бы можно.

И это случилось тогда, когда ко мне подошли две роскошные девушки, и сказали, что их подарили мне на ночь. И я волен делать с ними все что хочу.

Я уже было и на самом деле стал обдумывать, что же я с ними буду делать (ну, их, например, можно было снять в кино),-- как они спросили мою фамилию. И когда я назвал,-- они смутились, покраснели (хотя, большей частью, смущение было наигранно),-- и, извинившись, сказали, что ошиблись. И на самом деле адресат - это 'Михеев'. Ну, в крайнем случае, 'Червоненко'.

'Но о вашей фамилии мы ничего не знаем',-- еще раз проворковали девушки, и уже собирались было уйти, как заметил я приближающегося ко мне с распростертыми объятиями и улыбающегося Гоги Бендукидзе. Моего доброго школьного товарища, который был директором ликероводочного завода в каком-то абхазском городке. И именно он, как оказалось, и сделал мне столь щедрый подарок с этими валютными блядами.

И только вдруг неожиданно изменилось (уже через какое-то время нашего разговора --- девицы в это время курили около

машины, перемигиваясь то со мной, то с Бендукидзе) лицо Гоги - потому что он неожиданно более пристально стал всматриваться в мое лицо. Пока не извинился, и не сказал, что он на самом деле ошибся. А я - не я вовсе,-- а человек похожий ('только похожий',-- как будто с сожалением вздохнул Гоги),-- на его школьного товарища.

Что мне было делать?

Хорошо было бы вообще смазать ему по челюсти.

Но спортом я никогда не занимался. Бить толком не умел. И боялся вообще показать какую-нибудь агрессивность,-- потому что в этом случае могли избить уже меня.

И вот только тут я вспомнил, что ведь и на самом деле немного изменил свою внешность. Но как-то настолько быстро привык к своему новому лицу (хотя и изменения-то были совсем незначительные),-- что как-то сразу (и совсем) забыв: какой я был раньше. Да и не очень-то я охотно вообще-то возвращался к прошлому.

Быть может без него я и не мог. Но воспринимал это как нечто настолько интимное; что этому можно было предаваться во вполне определенное время. И желательно, когда никого не было дома.

Потому что я бы, наверное, и не вытерпел, когда кто-нибудь нарушил бы мое внутреннее пространство. Внедрил бы в него.

Потому что, то, что было в глубине моей души - принадлежало только мне.

И лишь только мне.

И, разумеется, никто не мог (и не должен был!) туда вторгаться.

И потом послал я к черту и Бендукидзе и заказанным им проституткам.

И ушел. Гордо ушел.

(Не удержавшись, впрочем, чтобы зачем-то не проколоть шины Бундукидзенского авто. Джипа 'Шевроле-Блейзер'.

Большого и красивого.

И колеса были такие же большие. А я втыкал в них нож (который снял с пояса обескуражено взирающего на все происходящее Бендукидзе), и находил в этом видимо какое-то удовольствие. Ну, по крайней мере, мне так казалось.

Ну а на самом деле, я конечно, наверное ничего и не помнил. Потому что потом я зачем-то (это уже потом мне рассказали) затащил девиц в джип. Посадил на заднее сидение и самого Бендукидзе. И сам сев за руль - поехал кататься.

Пока... не очнулся уже на следующее утро. В постели. Рядом с двумя обнаженными блядами. (По-моему, теми же самыми). И дрыхнувшим на полу - и тоже голым - Бендукидзе.

И еще очень болела голова.

Потому что, выпили мы вчера столько, что я, разумеется, не помнил ничего. Хотя обычно я помнил.

И еще. Утром у меня появилось такое желание, что я прямо таки набросился на этих блядей.

Ну или они сначала 'набросились' на меня. Потому что им, наверное, тоже очень хотелось.

А вот Гоги, проснувшись, сидел на полу; и выпучив глаза (периодически протирая их руками) смотрел на нас (на то, чем

занимались мы). И, наверное, ничего не помнил. Если вообще что-то понимал.

Но ведь он же подарил мне этих девиц.

Хотя, по большому счету, утром я уже трахал их бесплатно.

Потому что Гоги заплатил только за ночь.

Но мне почему-то казалось, что девушки получали искреннее наслаждение. А может они уже и не могли, чтобы не играть свою роль. Но ведь со мной этот случай не должен был прокатить.

И я сделал все, чтобы вывести их из себя. Потому что когда человек гневается - с него обычно снимается маска. Та маска, которую он надевает на себя. Ну, насколько, конечно, такой человек может быть искренним.

Но обычно у меня получалось.

Получилось и на этот раз.

И эти, с виду мирные и послушные девушки, вдруг оказались злобными мегерами и стервами.

Но стоило только Гоги (словно догадавшегося в чем дело) вынуть тысячедолларовую купюру, положив ее под бокал, как девушки тотчас же изменились. И глаза их уже радостно скашивались в желании разглядеть член, входящий в них.

И девицы действительно изменились. Но к этому самому времени я уже разрядился в одну из них. И за дело принялся Гоги. Жадно, и с каким-то поистине животным инстинктом набросившимся на них. Ведь они - словно бы нарочно - стали принимать откровенно сексуальные позы. Периодически

раздвигая своими наманекюрными пальчиками те места, в которые должен был входить Гоги.

Но у меня вдруг тоже проснулось желание.

А может это произошло и оттого, что мой орган любви давно уже оказался погруженным в напояженные губы одной из девиц. Которая периодически посматривала на Гоги, трахающего в зад ее подругу. А Гоги, словно заметив что на него обратили внимание, еще сильнее стал врываться в тело женщины (обхватив ее ягодицы большими волосатыми пальцами); отчего та еще больше заходила в исступлении страсти.

Глава 2

Михеев, наверное, немного расстраивался от того, что оказался таким извращенцем.

Хотя, можно ли было считать так? Ведь если разобраться, с женщинами ему никогда не везло.

И он их даже боялся.

А страх по настоящему пропадал только когда Михеев становился пьян.

Тогда в нем просыпался совсем другой человек. Циничный, развязный, не терпящий никаких компромиссов, и с какой-то необычной легкостью навязывающий свою волю. Всем. С кем он каким-то образом сталкивался.

А потому общаться с ним толком никто не любил.

И по возможности все старались избегать его. 'Себе дороже',-- говорили они, как только где-то вдалеке начинала маячить ссутуленная длинная фигура Михеева. Который наверное немного чурался своего роста. Всей своей нескладности. И быть

может даже хотел измениться. Тоже хотел. Также хотел, как и большинство из таких же забитых и несчастных людей.

Которые и сами (и все время) чувствуют свою ущербность.

И стараются от того совершить поступки, -- почти прямо противоположные тем, которые на самом деле свойственны им. Их 'Я'.

И при совершении подобных поступков, -- такие люди входят (словно бы вынужденно) в некие измененные состояния сознания. И смотрят на мир уже подобным образом (с позиции, большей частью, своего бессознательного), -- такие люди и мир видят совсем другим. Не таким как они и сами. Когда сознание их 'в норме'. (То есть когда оно превалирует над бессознательным).

P.S.

И наверное так уж получилось, что Виталий Германович Михеев в общем-то мог быть доволен тем, что происходило с ним.

Если бы... если бы он не умер. Так уж вышло...

12 апреля 2006 год.

повесть

Подмена реальности

"И при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль"

Притчи Соломона 14:13

Глава 1

Судьба на самом деле давала ему многое. Просто он сам не мог вовремя этим воспользоваться.

Ну а то, что проходило время, и он начинал это понимать,-- словно бы служило невольным подтверждением этому. Грустным, конечно, подтверждением. И еще более грустным казалось то, что, сколько он не пытался как-то исключить грусть от подобных ошибок в будущем,--не получалось. Прежде всего потому, что он продолжал совершать ошибки в своем настоящем. Причем Евсеев не знал в своем настоящем, что совершает ошибки. А тщательный анализ каждой предполагаемой ситуации ни к чему не приводил. Еще и потому, что ошибки иной раз состоялись в ситуациях, возникающих внезапно. Да и к тому же, мозг его был устроен так, что ему необходимо было ни в коем случае не держать в себе информацию. А все что приходило в голову - выдавать сразу. От того, и при возникновении какой-либо ситуации он совсем не решался тянуть время, обдумывая ее. А действовал сразу, решительно и бесповоротно. И всегда был уверен, что совершает нечто правильное и осознанное. По крайней мере, в своем настоящем ошибок не видел. И только много позже оказывалось, что ошибался. А существующие ошибки приносили Протасу Сергеевичу ощущение вины. Причем, иной раз, это ощущение вины было столь мучительно, что совсем не удавалось как-то от него избавиться. И оставалось лишь молча взирать на происходящее. Сомневаясь, что и вообще существовал выход из положения. "Хотя он видимо все же существовал",--считал Евсеев. Просто считая это, он мало кому о том рассказывал. Да и не было у Протаса Сергеевича особого желания с кем-нибудь делиться. И

даже не от того, что был он таким уж скрытным. Он даже наоборот, если кто ему задавал вопросы (любого характера) - стремился тут же на них ответить. Причем зачастую придерживался отличной от большинства точек зрения по каждому вопросу. Евсеев вообще не любил большинство. И скорее походил на единоличника, чем на человека команды. И, наверное, объяснялось уже это в свою очередь тем, что Евсееву трудно было найти для себя похожего на него по уму. Обязательно кто-то был или с интеллектуальными способностями ниже, или - выше. Равных же было мало. Правда, Евсеев мог предположить, что он просто не искал. Но пока и тех с кем он встречался, ему было достаточно, чтобы не вдаваться в особые поиски; не ожидая от таких поисков результата. И считая, что пока достоин того что есть. А если что произойдет, так это все равно пойдет ему исключительно в пользу. По крайней мере, возникнет новая ситуация, которая потребует своего разрешения. А любое разрешение - есть частица жизненного опыта. К приобретению которого Евсеев всегда относился с огромным желанием.

.....

Всяческим путем, как только это было возможно, Протас Сергеевич изыскивал пути выхода из проблемы. Какая была проблема? Все просто. Евсеева затаскивала к себе ирреальность. Другими словами, он становился не только свидетелем, но и прямым участником беды, под названием подмена реальности. А все недавние попытки от этой беды освободиться - носили исключительно краткосрочный характер. И разрешаясь на какое-то время, через промежуток этого времени (в последнее время совсем даже небольшой) Евсеев вновь оказывался в болоте.

Болоте, именуемом - пороки. Он стал заложником этих пороков. Он тонул в них (тогда как раньше, сначала не умел плавать, а потом в удовольствие купался).

Он тонул в них, и искал помощи. Причем помощь должна была к нему придти специфическая. Он ни за что не стал бы кому-то рассказывать о том, что его действительно мучает. Так, невольные штрихи да наброски, из которых если и можно было сложить единое целое, то только в случае, если собрать все им сказанное различным людям, систематизировать это, отбросив лишнее и то, что только уводит в сторону, а попросту сбивает с толку, и тогда уже только потом, на базе этого, попытаться развить какую-нибудь теорию. Что, сразу можно было заметить, было неудачным обнаружением того, что действительно мучило Протаса Сергеевича. Хотя и, наверное, что-то позволяло понять.

В итоге, понимая, что даже при всем желании рядом нет тех, кто смог бы ему помочь (для этого как минимум этот кто-то должен был обладать знаниями не меньше чем у него), Протас Сергеевич решил до всего дойти самостоятельно. Причем искренне верил, что если взяться и проанализировать проблему, то можно найти определенную формулу, согласно которой выстроится соответствующая модель поведения, ну и жизнь после этого станет легче.

Евсеев был доктор наук, член-корр. академии наук, автор множества научных книг по физике и математике, было ему сорок пять лет, был он холост, имел шизоидную внешность, и странность по отношению ко всему, что невольно окружало его в жизни. Невольно - значит, что сам Евсеев не имел к созданию подобного никакого отношения. То есть, уже получалось, вокруг

Евсеева было много того, с существованием чего Евсеев сталкивался, но понять необходимость существования никак не мог. И у него катастрофически не хватало времени с этим разобраться. Он уже сменил не один блокнот, в который заносил как будто неотложные вопросы, с которыми необходимо было в самое ближайшее время разобраться, но блокнотиков уже накопилось несколько, а к разрешению ни одного из вопросов Евсеев не приступил. И наконец решил махнуть рукой, тем более того, что требовало разрешения, пока и так было более чем достаточно.

Причем ко многому он возвращался повторно. Но это не приносило ровно никакого результата. Положительного результата. Который пока у Евсеева не получался, даже несмотря на то, что все что он делал - делал быстро и со стороны казалось - не раздумывая.

На самом деле думал он как компьютер. За долю секунду пропуская через себя гигабайты операций в секунду. Проблема только, что Евсеев медленно (но верно) перемещался в какой-то другой мир. То есть подменял мир настоящим - миром реальным. И даже несмотря на то, что подобную проблему заметил, -- не смог с ней ровным счетом ничего сделать. Ну, не получалось у него. Слишком многое отвлекало и казалось первостепенным и важным. Более важным. Тогда как где-то краем подсознания он понимал, что попросту запутывает себя. И... это понимание не приводило ни к чему. Оно лишь откладывалось у него в памяти. И периодически напоминало ему ухудшившимся состоянием. Мигренями, например. Или какой нехорошей симптоматикой (расстройствами

всякими). Но вот интересно - на работоспособность совсем даже и не влияло. И та даже постепенно возрастала.

Сон у Протаса Сергеевича давно уже снизился до четырех часов. На пустые дела он тоже не позволял себе тратить время. И всецело поглощал знания, читая, сочиняя, в общем, работая. Причем за эту работу ему платили вполне приличные деньги (на минимальные нужды не только хватало, но Евсеев еще ездил за свой счет на какую-нибудь конференцию, которая не была в планах академии наук, за границу). Так что Протас Сергеевич мог себе позволить не отвлекаться на поиски дополнительных источников заработка (проблема частично решенная у российских ученых только к середине первого десятилетия второго тысячелетия) и посвящал себя исключительно любимому делу.

Подход Евсеев всегда любил достаточно основательный. Лишь минимально допуская какое-либо творчество, и ориентируясь в первую очередь исключительно на фундаментальность. Причем до последнего времени мог сказать, что подобный подход был оправдан, потому как приносил свои результаты. И так это действительно было. Вот разве что совсем недавно Евсееву показалось, что это не есть хорошо. Ну, то есть, то, что по-прежнему находил он ответы на вопросы - хорошо. Но то, что все ответы в итоге оказывались друг на друга похожи - плохо. Даже очень плохо. Потому как, подозревал Евсеев, не давали на самом деле они достоверности картины происходящего. А то и способны были уводить в сторону. Иной раз очень. Запутывать, в общем. Подменять истинную картину - ложной. Не

существующей. Или же если и существующей, то уж в очень специфическом спектре восприятия.

А в итоге оказывалось, что все неправда. И ему необходимо было действовать иначе. Применять совсем иные методы исследования. Ведь в том, что на протяжении долгих лет происходило исследование его жизни, Евсеев не сомневался. И он нисколько не боялся подобного понимания. Потому как знал, что в совсем скором времени непременно найдет ответ. Тот ответ, к которому он, в общем-то, всегда и стремился. Ну и даже если какое-то время придется подождать... Ну, он в общем-то, этим всю жизнь и занимается. Ожиданием. Поэтому подождать еще какое-то время был готов. Конечно же, готов. Ну а почему нет?..

Глава 2

Кто бы мог сказать, что все так случится...

Никто. Конечно же, никто.

Никто не мог знать, что Протас Сергеевич настолько изведет себя придирками, что вдруг заболит и чуть не умрет. По крайней мере он попал в больницу и пролежал там несколько месяцев. А когда вышел, то с удивлением стал обращать внимание на все, что его окружало. Потому как, на первый взгляд, ничего не изменилось (дома, деревья, трамваи и проч. были окрашены в тот же цвет, как и пару месяцев назад, и имели схожие параметры относительно прочего окружающего мира). Но вот люди стали вести себя иначе. Евсеев вдруг заметил, что никто из людей уже не вызывает в нем такого уж негатива. Все как будто стали милы и привлекательны. Быть может даже умны. И что уж точно - весьма обходительны. Приветливы, в общем. И улыбались. Евсеев вдруг

заметил, что люди улыбаются. И это было для него удивительным откровением.

И вроде как и хотел он при этом изменить что-то в своем сознании, да не мог. И восприятие мира - не менялось. Оставаясь таким... "Ну, странным, что ли",--как считал Евсеев.

При том что и сам Протас Сергеевич удивительным образом изменился. Вместо шизоидности, которая всегда прочитывалась в его взгляде, уверенно дополнялась внешним сходством с людьми, подпадающими под категорию шизиков, теперь все поменялось. А в его внешности стали читаться ум, расчетливость, и хитрость. Причем Евсеев заметил, что его удивительным образом перестали обманывать в кассах (будь-то кассы магазинов, где его традиционно обсчитывали, или касс вокзалов, где норовили подсунуть билет по другим ценам, а кто-то еще умудрялся и в другом направлении). Сейчас этого уже не было. С Евсеевым стали считаться. Даже студенты (помимо работы в НИИ, Евсеев еще преподавал физику в ряде вузов Петербурга) разом прекратили свои шуточки на уроках, больше не смеялись, а самым удивительным образом стали ловить каждое слово своего преподавателя. Как будто знали...

Евсееву стало казаться, что он скоро умрет. И весь мир стал стремиться успеть пожить с ним какое-то время. Пока он навсегда не покинет этот мир. Странный мир, конечно. Но в том-то и дело, что мир был странен раньше. А сейчас Протас Сергеевич был преисполнен решимости жить. Ему даже повысили зарплату. И неожиданно стали доплачивать президентские за ученую степень (сейчас это были дополнительно десять тысяч).

Причем все словно бы повернулось к нему лицом в один момент. Все стало хорошо. А на душе обещало быть спокойно.

Как бы не так! На душе все чаще начинали скрести кошки. Он вдруг поймал себя на мысли (после очередного анализа, к которому вернулся - не мог Евсеев прекратить подобную форму размышлений), что теперь просто-напросто боится все потерять. Раньше у него ничего не было, теперь фактически тоже почти не было, но то, что было (вернее - стало), он боялся потерять. Переживал даже... "Глупец,--воскликнул про себя Протас.--Он еще чего-то переживает. И это сейчас! Когда жизнь разом улучшилось. А ему не требуется уже сотрясать свою душу невольными сомнениями. Действительно глупец..."

Протас Сергеевич еще несколько раз повторил про себя это слово. Оно ему на удивление нравилось. Притом что смысл был по сути обидный. И еще раньше он мог бы так и сказать. Но вот сейчас говорил, но словно бы мимо пропускал смысловое значение слова "глупец". И даже мог,--если бы его спросили,-- пояснить, что глупец в данном контексте совсем не глупый человек. А человек, которого кто-то намеренно вводит в заблуждение. А он всячески противился этому. Но все равно заблуждается. Как, возможно, заблуждается и сейчас, считая себя...

"Да нет же, черт возьми!"--закричал Евсеев. Он не дурак.

"Ни в коем случае",--произнес Протас Сергеевич уже спокойнее, и соглашаясь с собой, что если бы он был дурак (даже если и придурок), на него бы не свалилось столько душевных благ. И даже можно было сказать, что с ним бы и вообще мало что

произошло бы хорошего (доброго и положительного). А все бы наоборот - показалось бы более чем хрено...

Евсеев вовремя сдержался. Ругаться он не любил. Даже про себя. Ну, разве что иногда вспоминал черта. Да и то, не к ночи будет сказано, старался если и вспоминать его, то исключительно мысленно. И как бы уже получалось, не по настоящему.

Что касалось разговоров с собой... Ну, можно сказать, что Евсеев иной раз практиковал подобную форму общения. Друзей у него было, конечно, много. Но большинство из них ему были непонятны. Хотя и конечно же, Протас Сергеевич иной раз очень даже с ними общался. Приглашая к себе (раз в две-три недели стал практиковать что-то типа встреч, а по сути - легализованных пьянок), или встречаясь в кафе-баре-ресторане (в зависимости от настроения большинства собравшихся - выбиралось соответствующее питейное заведение). Причем, чтобы ни в коем случае не создалось впечатление о Евсееве как о пьянице - скажем сразу, что пьяницей он не был. Хоть и был склонен к алкоголизму. Но умел держать себя в руках.

Глава 3

Со временем Евсеев вполне свыкся со своим новым состоянием. Притом что оно ему даже в какой-то мере понравилось. Нравилось быть чудиком? Ну, вполне может быть и так. По крайней мере Протас Сергеевич уже не испытывал от этого тех мучительных последствий, которые еще вроде как были поначалу. Можно ли было это назвать тем, что он свыкся?.. Ну, в какой-то мере, наверное, да. Особенно если учитывать, что Евсеев стал испытывать какое-то особое состояние духа. Даже чуть ли не

подъем неожиданный. После чего многое в его сознании вообще стало на свои места. Структурировалось. А жизнь предстала перед ним в совсем ином цвете. И была окрашена на удивление положительными эмоциями. Тогда как раньше он мало что испытывал подобного. Ну, все как-то не складывалось...

.....

Наверное не стоит говорить, что Евсеев вдруг решил осуществить одну свою, в принципе, если не мечту, то скажем так - желание.

Осуществление желания он решил облечь в сферу эксперимента. Чтобы помимо какого-то удовольствия (морального и физического), еще и получить данные, которые могли бы оказаться необходимыми...

Сейчас перед Евсеевым была загадка, кому они могли оказаться необходимыми.

Он перебирал знакомых. Внезапно в памяти всплыл Костя Ильин, профессор Политеха (позже Евсеев вспомнил, что в их последнюю встречу Ильин говорил, что переводится в другой вуз). Когда-то Костя был его одноклассником. Они даже хотели поступать в один вуз. Стать историками. В итоге - Протас поступил на физико-математический факультет МГУ, а Константин - на биолого-почвеннический Тимирязевской Академии.

Позже, по окончании вузов, они почти одновременно приехали в Ленинград. Потом на какое-то время их пути разошлись, но случайно встретившись после того, как не видели друг друга лет десять - они вновь сошлись самым тесным образом.

И с тех пор если и не встречались так часто как хотелось бы, но что уж точно - созванивались постоянно. Дружили, в общем.

И вот сейчас Евсеев решил обратиться к своему другу с необычным предложением.

.....

--Ну это же авантюра!--вскричал от негодование профессор Ильин.--Во что ты меня втягиваешь, чудаки!--посмотрел он на давнишнего товарища.--Ты, который никогда раньше не позволял себе даже и помыслить о чем-то подобном, теперь мне предлагаешь... предлагаешь...--Ильин от захлестнувшего его возмущения не мог подобрать слова.

--Тоже мне, афера века,--буркнул Евсеев, искоса посмотрев на Ильина, который медленно задышался.

--А... А...--глотал тот ртом воздух, и было видно, что тот шел не в то горло.

--Что с тобой?--не на шутку испугался Евсеев, видя что Ильин уже лежит перед ним, и не шевелится.

Протас Сергеевич быстрыми движениями растегнул тому ворот (пальцы запутались в пуговицах - пришлось вырвать с мясом), стал осторожно хлестать по щекам, вспоминал, было, еще какие-то движения из правил первой помощи, да уже понял что все. И его друг, Константин Ильин - умер. Но от чего?

Следующим вопросом, промелькнувшим в голове Евсеева, было - куда спрятать труп? Ведь его могли обвинить в убийстве. И если предположить, что он даже сможет доказать что не убивал, но к тому времени пройдет уже время, и все это время он будет сидеть в тюрьме, а в камере его будут пытаться менты и

зека. (Евсеев совсем некстати вспомнил про имеющиеся в российских тюрьмах пресс-хаты, где специально подобранные заключенные, тянули свой срок в более лучших условиях, и за это по заказу администрации били тех, кого к ним переводят.)

Еще немного, и Протас Сергеевич понял что скоро сам умрет. Тут же. Поэтому ему уже вроде как ничего не оставалось, как...

"А что же мне делать"?--задумался Евсеев. И по всему выходило, что делать многого было и не нужно. Следовало применить имеющиеся познания в химии. Да и использовать то, что сейчас он все-таки был в квартире Ильина. Пусть и внезапно скончавшегося Ильина, но ведь химическую лабораторию того никто не отменял. А значит, если только пройти в кабинет и достать все реактивы...

Евсеев не медля двинулся к кабинету. По пути он оттащил тело Ильина в ванную комнату. Да вспомнил, что в кабинете Ильина тоже была ванная (ну или вернее что-то навроде ванной - или емкости для растворения каких-либо тел при проведении опытов).

Столкнув Ильина в ванную, Евсеев наконец-то нашел емкость с соляной кислотой, и вскоре влил той столько, что она покрыло тело. И тут же растворило его. Практически моментально.

"Ну вот и все",--подумал Евсеев.--"Нет труп, нет проблем".

Подчистив за собой (не только тщательно вычистив место проведения опыта, но и стерев отпечатки пальцев, заботливо пройдя с тряпочкой по всей квартире), Протас Сергеевич Евсеев

подумал, что он может вздохнуть свободно. Более того. Он вдруг почувствовал, что все произошедшее каким-то удивительным образом изменило и его отношение к жизни. И он вдруг перестал замечать в этой жизни что-то отрицательное, плохое, что еще как вроде бы недавно доставляло ему множество тревог и сомнений. Теперь сомнения эти не только исчезли, но и можно было предположить, что исчезли они навсегда. И окончательно распростившись с ними, Протас Сергеевич Евсеев понял, что теперь может начать жить. Попросту начать жить. Жить той жизнью, от которой раньше вроде как избавлялся. Всегда избавлялся. И не мог избавиться. А тут вдруг взял и...

Евсеев на самом деле не знал, действительно ли для него все закончилось. Ведь могло так случиться, что найдется какая-то ищейка, которая установит его вину. И тогда...

Ни в тюрьму, ни на зону Евсеев идти не хотел. Он вдруг понял, что уже не докажет что Ильин умер сам. По факту выходило, что он, Протас Сергеевич Ильин, убил своего друга и бывшего однокашника Константина Ильина, и уничтожил тело в ванной. До конца, конечно, тело уничтожено не было. Какие-то следы остались. И для того чтобы уже получилось наверняка, Евсеев разлил по квартире бензин, рассыпал порох (у Ильина была подпольная лаборатория), и осторожно вышел, подпалив бикфордов шнур.

Взрыв раздался, когда Протас Сергеевич выходил из подъезда. Послышался звон лопнувших стекол, разом вылившихся в симфонию сигнализации припаркованных автомобилей, крики то ли раненых то ли зрителей, да и вообще выходило, что все закончилось ("или начиналось",-- пронеслось в голове) плохо для

других (могли быть пострадавшие от последствий взрыва), но весьма неплохо для Евсеева. Который понял, что теперь уж точно может скрыть следы, и непроизвольно улыбнувшись, даже замедлив шаг.

Он подумал, что если будет продолжать двигаться в другом направлении от эпицентра взрыва, то тем самым сможет невольно навлечь на себя подозрение. Ведь это противоречит стереотипам, говорившим о том, что в человеке весьма развито любопытство, а значит, он вольно или невольно, но все равно посмотрит на то, что произошло. А то и вернется на место преступления.

Поэтому Евсеев развернулся, сделав вид, что словно только что услышал какой шум сзади, и стал возвращаться обратно. У него даже промелькнула мысль действительно вернуться и посмотреть, что на самом деле получилось.

Но тут же понял, что этим может себя невольно выдать, а потому шел вроде как и к взрыву, но по касательной от него, пока наконец не завернул в какую-то арку, выйдя из которой запрыгнул в остановившийся автобус, и, уехал.

Глава 4

Евсеев не решался признаться себе, что все в его жизни могло закончиться. Еще недавно жизнь вроде как бежала по своему витку, закручиваясь в спирали, или выходя на прямую, но было ясно заметно одно - движение.

Протас Сергеевич даже мог допустить, что подобное движение было не совсем позитивным. Это не меняло сути. Он все-таки шел вперед. Его мозг накапливал какой-то материал. Сам

Евсеев, случалось, по иному даже оценивал случившиеся в его жизни события. Но он их оценивал. Тогда как сейчас наступила пустота. Страшная, по сути, и совсем не предвещавшая даже в будущем разрешения той ситуации, в которой волей судьбы он сейчас оказался. И даже выхода не намечалось. В мозгу щелкало, что он является убийцей. Убийцей своего друга. И не мог избавиться Евсеев от знания, что он никого не убивал, а только поддавшись страху, который давно уже поселился в нем, скрыл следы смерти бывшего однокашника. "Но зачем? Неужели страх и на самом деле господствует во мне"--подумал Евсеев, но по всему подобный вопрос он мог и не задавать. Все было более чем ясно. И недавний пример совершенного безумства словно доказывал, что это так.

На миг у Евсеева улучшилось настроение. Он вдруг подумал, что все, что с ним произошло - могло ведь произойти и не на самом деле. Он же сам говорил, что живет в последнее время как будто в двух реальностях. Так почему бы...

--А кто его спрашивает,--осторожно спросили женским голосом на другом конце провода (пока раздумывал, Евсеев набрал домашний номер Ильина).--Евсеев,--представился Протас Сергеевич.--Пригласите мне пожалуйста Костю... Он дома?

--Дома...--ответили на другом конце провода все тем же вкрадчивым женским голосом.--Конечно же дома. Только он сейчас занят. Очень занят...--словно раздумывая, проговаривала женщина.--Вы не могли бы подъехать. Адрес знаете?

--Подождите,--не понял Евсеев.--А вы кто? Я могу поговорить с Константином? Скажите ему, что это Протас. Что там у вас вообще происходит?

--Да уверяю вас, что ничего странного,--спокойно ответила женщина.--Просто я врач скорой помощи. Константину Михайловичу стало плохо. Видимо он сам позвонил и вызвал неотложку. А вот теперь я сделала ему укол, он уснул, а мне надо его оставить на кого-нибудь из близких. Вы не могли бы приехать?--вкрадчиво попросила женщина таким голосом, что к Евсееву вдруг внезапно пришло половое возбуждение.

--Да, да, я приеду, сейчас приеду,--пообещал он, и совсем некстати подумал, что было бы неплохо врачихе зафиндильте...

Впрочем, он сдержал свои мысли. Иной раз в голову к нему приходила уж совершенная похабщина. И тогда единственным выходом было сдерживать себя, не давая даже заканчивать мысль. Ибо если она могла начинаться еще безмятежно, то иной раз заканчивалась такими сценами разврата, проигрываемыми в его воображении, что Евсеев боялся как-то невольно выдать себя.

.....

Он был почти уже около дома Ильина, и вдруг понял, что сам себе сейчас подписывает приговор. Ильин был убит, квартира взорвана, а его, Евсеева, могли видеть соседи или невольные прохожие. И теперь около дома засада, его опознают, и срок...

Евсеев подумал, что если погибли еще люди, так могут и вообще расстрелять. Или дать пожизненное заключение. А уже убить его могут сами менты.

--Протас Сергеевич?--обратился к Евсееву какой-то мужчина.

--Нет, вы ошиблись,--зачем-то сказал и Евсеев, и попытался скрыться.

--Ну куда же вы, Протас Сергеевич,--попридержал Евсеева мужчину за локоток.--У нас же вот уже и ориентировка на вас,--он показал черно-белый снимок, фоторобот, в котором Евсеев узнал себя.--Ну вот и хорошо,--вежливо произнес мужчина, заметив что Евсеев себя узнал и размяк, дав защелкнуть на руках наручники.

--В машину,--резко сказал мужчина, повернувшись к стоявшим рядом с ним двум сержантам, и кивнув на Евсеева.-- Загарову скажи, чтобы без меня не допрашивал. Пусть ждет. Я следом,--отдал распоряжение мужчина, передавая Евсеева в руки сержантов ("на редкость неправильные черты лица",--подумал Евсеев, глядя на сержантов). И тут же его как ошпарило. Ведь сейчас может все закончиться. Его арестовали. В камере начнут пытать. И он все расскажет. Все расскажет...

Евсеев, было, собрался повернуться к удалявшемуся следователю (он предположил что это следователь), да один из сержантов коротко пробил ему под дых, и согнувшись от боли, Протас Сергеевич оказался заброшен (как мешок с картошкой) в милицейский уазик.

Глава 5

На удивление, все произошедшее с Евсеевым случилось на самом деле. А ведь ему еще недавно казалось, что это все сон. А жизнь его чуть ли не подчинена подобному сну. Ну, то есть, конечно, бодрствованию главным образом, но с периодическим вкрапливанием сна. Причем очаги сна могли заметно разрастаться, достигая совсем уже внушительных размеров. А могли уже как

будто и не оказывать какого-либо существенного влияния совсем не на что. Ну, разве что...

Впрочем, Евсеев в очередной раз четко осознал, что это не сон, получив пинок ботинком под ребра. Так его будили.

--Вставайте, Протас Сергеевич...

Открыв глаза и инстинктивно сжавшись, ожидая второго удара (в милиции, знал Евсеев, некоторых традиционно били; для порядка), Протас Сергеевич разглядел ухмыляющуюся рожу какого-то милиционера (в их сержантско-старшинских званиях он путался, понимать начиная только с лейтенанта), рядом с которым... стоял Ильин.

--Ну что, дурачок,--ласково проворковал Ильин.--Пойдем домой. Дяди милиционеры тебя отпускают. Ты ведь будешь себя хорошо вести?..

--Что за бя...--хотел, было, вскочить Евсеев (с прошлой ночи он решил выработать иную модель поведения), как тут же согнулся от удара в живот коленом.

--У-у-у...--промычал он, присев, и зажав внутренние органы, которые казалось, готовы были лопнуть от боли.

--Не надо его бить, дядя милиционер,--проворковал Ильин.--Он больше не будет ругаться матом. Ведь правда, Протасик?

Протас Сергеевич поднял голову, и в очередной раз увидел ту же картину: ухмыляющееся лицо милиционера, и до удивления идиотская внешность Ильина. Покойного Ильина. Или он все же был жив...--начал было рассуждать Евсеев, да вспомнил, что сам заливал кислоту в ванну, которая и растворила тело Ильина. А остатки его сгорели в результате взрыва и пожара. А значит...

--Кто вы?--осторожно спросил Евсеев, решив, что бить будут все равно, но так он сможет еще хоть что-нибудь выяснить. Тем более Протас Сергеевич все-таки был ученым. И догадывался, что на каком-то этапе все равно бить должны прекратить. Потому что избиение - не самоцель. А лишь подготовка к чему-либо. К какому-либо разговору, например. Поэтому бить должны перестать. А пока он может и потерпеть.

--Ну так кто же вы?--Евсеев поднялся, оттряхнул брюки (лавочка в КПЗ была слишком узкая для него, приходилось спать на полу. Пол был цементный. Как и стены. Деревянная лавочка шла вдоль стены. Впрочем, от лавочки одно название. Скорее, полоска доски, прикрученная к цементной основе), и даже с некоторым вызовом посмотрел на человека, похожего на Ильина. В уме пронеслось, что брата и похожего родственника у покойного не было. Значит, просто подобрали двойника. Но зачем?

--Глупо, ой как глупо,--сказал "Ильин", и представился старшим следователем по особо важным делам.

--Ого-го!--присвистнул Евсеев.--С каких это пор нами, учеными, занимается прокуратура.

--Вы не ученый, вы убийца,--спокойно произнес следователь (Евсеев присмотрелся и заметил что тот действительно если и походил на покойного Ильина, то только в целом, да и при тусклом свете камеры).--Курите?--он пододвинул к Евсееву пачку сигарет "Мальборо".

--Спасибо,--поблагодарил Евсеев, подумав, что значит им стали платить хорошую зарплату, если следователи перешли с "Космоса" на "Мальборо".

--Ну, в общем, мне все понятно,--сказал следователь.-- Уже готовы результаты дактилоскопической экспертизы. А также заключение экспертов. Вот,--он пододвинул к Евсееву бумагу,-- показания свидетелей, которые видели как вы входили к покойному Ильину, и как выходили из подъезда. Время совпадает. За то время пока Вы были в квартире, Вы успели убить Ильина, попытаться растворить труп в соляной кислоте, а после взорвали квартиру, намереваясь окончательно уничтожить следы. Но следы может и уничтожили, а вот улики нет. И они против вас. А потому у меня есть все основания предполагать что вы,--он посмотрел на Евсеева, слушавшего следователя внимательно, и отчего-то понимающего, что ничего он с ним не сделает,--вы убийца,-- повторил следователь. Вот бумага. Пишите все как было, и я обещаю...

--На понт берете, гражданин начальник,--вздыхнул Евсеев.

Следователь удивленно поднял на него глаза. Видимо образ ученого у него не вязался с употреблением тем жаргона. А потому он посмотрел еще более внимательнее на Протаса Сергеевича.

--Ну че зыришь,--хотел уже было сказать Евсеев, да сдержался.

Удивительное дело. Попав за решетку, с его души вдруг разом снялись какие-то запреты, навязываемые за все его годы существования в социуме цивилизацией. И он как-то быстро понял, что теперь можно отбросить любые условности, и побыть самим собой. До освобождения. Ну а потом уже вновь вернуться в нормальный мир.

--Что вы на меня так смотрите?--спросил Евсеев.--

Насколько мне известно, я могу вообще не отвечать на ваши вопросы. А так же разговаривать в присутствии адвоката. Мне бы хотелось вызвать своего адвоката. Я на это имею право?--Протас Сергеевич посмотрел на следователя.

--Хм,--как будто даже загрустил тот.--Имеете-то имеете...

Да вот я бы вам не советовал проявлять излишнюю активность. Вы подозреваетесь в очень серьезном преступлении. И для вашего блага - все-таки не портить отношения с системой.

--И все же я хотел бы, чтобы пригласили моего адвоката,--
--был непреклонен Евсеев.

--Ну что ж,--кивнул следователь, и нажал кнопку. Тут же вошел милиционер.--Возвращайтесь пока в камеру. И крепко, очень крепко подумайте. А мы тем временем свяжемся с вашим адвокатом. Как говорите его фамилия?

--Востриков,--спокойно ответил Евсеев.--Павел Романович Востриков.

--Востриков?--переспросил следователь, удивленно посмотрев на Евсеева.

--Востриков,--кивнул Евсеев.--Он вам знаком?

--Слышал...--буркнул следователь, велел проводить задержанного в камеру.

На самом деле Востриков когда-то тоже был следователем. А потом отчего-то переметнулся в другой лагерь, разочаровавшись в правовой системе, и решив своим трудом искоренить или хотя бы уменьшить беззакония, творимые милицией и судами. Причем и брат и отец Вострикова были судьи. А сам он выиграл все сорок дел, которые вел. Одерживая вверх

даже там, где, вроде как, и улики были на лицо, да и вообще, можно было расстреливать или давать большой срок без наказаний, просто потому что все было ясно, а заключение следователя скреплялось явкой с повинной со стороны подозреваемого и свидетельскими показателями, да и вообще все было настолько ясно что...

Но вот брал на суде слово Востриков, и было уже совсем даже ничего не ясно. Причем Павел Романович говорил столь убедительно, что задумывался даже сам следователь, ведший дело. А прокурор вообще озирался по сторонам, ища тех, кто его чуть не подставил осудить невиновного. И даже несмотря на то, что прокурор мог запрашивать и десять и даже двадцать лет - подозреваемого признавали полностью невиновным и отпускали из зала суда. Ну, или же,--если дело было действительно серьезное,--решали ограничиваться отбытым сроком (время с момента задержания и до суда засчитывается в срок), и все равно отпускали.

Поэтому когда сейчас следователь узнал, что адвокатом задержанного будет Востриков... Ну, сказать что следователь испытал глубокое разочарование, значит ничто не сказать. Он давно уже слышал разговоры, что неплохо было бы как-то вывести из игры самого Вострикова. Но пока компромата на него было слишком мало. А тут удар надо было наносить четко и наверняка. Чтобы, значит, сразу. Приговор-суд-этап. И куда-нибудь в Нижний Тагил. На ментовскую зону...

Глава 6

Как и опасался следователь, Востриков добился освобождения Евсеева. Однако сам следователь принял подобную новость на удивление спокойно. Он уже знал, что на адвоката нашли управу. И в скором времени вопрос с ним будет решен. Причем самыми, что на есть, надежными методами. Смертью.

А пока он мог и подождать.

А Евсеев же, освободившись, решил неожиданно уехать из страны. Он уже понял, что находясь здесь, все время должен ожидать какой-либо непредсказуемости. Ожидать того, что может случиться, а может и не случиться. А ему вдруг захотелось какой-то стабильности и гарантии. Гарантии того, что завтра его не схватит миллионер, и не отведет в участок. Да и вообще, Евсеев действительно чувствовал вину за убийство Ильина. Пусть он его, конечно, и не убил, а только проявил слабость и малодушие. Но ведь по факту - он совершил противоправный поступок. И за него весьма и весьма раскаивался. Понимая, что все равно должен понести наказание. Ну а пока не понес - решил уехать. Зная, что за границей до него не будет никому дел. А нарушать закон он там не будет. Он будет самым законопослушным гражданином. А работу найдет. Докторская диссертация по физико-математическим наукам и прекрасное владение тремя языками должны были обеспечить ему вполне сносное существование на западе.

"По крайней мере, хуже чем здесь не будет", --улыбнулся Протас Сергеевич Евсеев, отправляя по электронной почте письмо зарубежному коллеге, с просьбой сделать ему рабочее приглашение.

После оплаты услуг адвоката у Евсеева почти не осталось денег. Но и тех, которые были - он знал, что хватит на перелет до Германии, куда собрался. А из Германии он попытается отправиться в Америку. Или останется в Германии. Или попробует в Австрию, Испанию, Швецию... В общем, стран было много, где ценили науку. И Евсеев знал, что себе местечко найдет. Главное только решиться.

А он уже и решился...

20. 08. 2007 год.

Повесть

Письма в никуда, или сумасшествие

«Каждое повышение интеллекта сверх обычного уровня уже располагает, как аномалия, к безумию».

Артур Шопенгауэр

Часть 1

Глава 1

'... Я не знаю. Порой мне кажется, что мое на миг прояснившееся сознание способно вытянуть меня из того мрака, в котором я нахожусь... Но потом наступает затишье... Затишье... И погружение в бездну...

Что со мной? Способен ли хоть кто-нибудь сказать, что со мной? А могу ли я сам ответить на этот вопрос? Признаться самому себе, что с моим сознанием ничего страшного не происходит. А случившееся - лишь кратковременный сон, после

которого наверняка будет пробуждение... Наверняка... Но я боюсь признаться, что это действительно будет так... Но тогда?.. Быть может тогда все наоборот? Я все время сплю; а те мгновения, в результате которых я обретаю способность восприятия окружающего мира - лишь кратковременные проблески сознания во мраке окружающей бездны?.. Не знаю... Я действительно не знаю; ибо все те годы, которые живет во мне то, в чем я до сих пор не оставляю попыток разобраться - у меня проходят под знаком нависшей надо мной опасности немедленного разоблачения?.. Слово-то какое... Но если бы кто был способен (хоть на доли мгновения) испытать то, что достается мне... Быть может тогда бы понял он - каково достается мне; когда вся жизнь проходит в непредсказуемой по своим результатам, непрекращающейся борьбе. И поражение в этом поединке,-- означает неминуемую смерть. Да, да,-- именно смерть; ибо допустить, чтобы окружающие усомнились в моей вменяемости - действительно означает для меня смерть. Ну, хотя бы потому, что я этого не переживу. И, вероятно, не захочу жить...

Нет. Не хотел бы я, что бы кому-нибудь досталось это проклятие, окутывавшее мозг и затуманившее сознание... И если честно - я не знаю, есть ли выход из этой проблемы...!,'-- Эмиль дописал последнюю фразу, еще раз пробежал по ней глазами, словно пытаясь еще чем-то дополнить, но вынужден был смириться, понимая, что на сегодня ничего больше не выйдет. Он осторожно вырвал листки с написанным из лежащей перед ним толстой тетради, сложил их пополам, и, вложив в конверт, аккуратно заклеил концы. На обратной стороне он поставил сегодняшнее число - 18 января 2004 года.

Какое-то время ничего не происходило. И если Эмиль о чем-то сейчас размышлял, то было совсем невозможно догадаться: о чем?

Наконец-то он остановился глазами на лежащем перед ним конверте. Минуту другую он как будто раздумывал: что с ним делать? Потом словно опомнившись, Эмиль открыл ящик стола (где уже лежали конверты, схожие с этим), и положил новый конверт сверху. После чего достал блокнот лежащий справа от писем, и раскрыв его, сделал запись: ? 24.

Добавив рядом с цифрой число, месяц, и год указанные на конверте - он закрыл его, задвинул ящик, и, откинувшись в кресле, закрыл глаза. Вот уже как 14 лет, он, Эмиль Маковский, пытался скрыть от окружающих то, что происходило с его сознанием; с трудом сдерживая помутневшийся разум, временами 'дающий о себе знать' кратковременными приступами, которые пока, правда, ему удавалось сдерживать. (По крайней мере, можно быть уверенным, что никто ни о чем не догадывался). Но с каждым разом Эмиль понимал, что это ему делать все труднее. И перед ним стоял серьезный вопрос: что будет дальше?..

Обращаться к каким-нибудь 'специалистам' он боялся. Боялся быть зачисленным в разряд 'душевнобольных'. А значит, разом лишиться того статуса, который сохранялся за ним, пока его считали 'относительно здоровым'.

В последнее время у Эмиля -- а это был мужчина лет 35-37, чуть выше среднего роста, худощавый, с аккуратно зачесанными назад черными волосами (скрывающими уже начинавшуюся лысину), с серьезными и немного грустными глазами -- были все основания задуматься о том, что с его

психикой происходит что-то неладное. Правда, никто пока ничего не подозревал. Да и, иной раз, проступающая на его лице 'все понимающая' улыбка быть может, столь неоднозначно действовала на его невольных собеседников, что уже в другой раз - они стремились какого-либо общения с ним избежать.

Когда-то Эмиль серьезно увлекался философией и шахматами. В 25, даже защитил кандидатскую. Но потом он неожиданно поступил в институт совсем другого профиля, и стал юристом. (Мало кто тогда догадывался, что это был, своего рода, 'первый звоночек'. Хотя, не догадывались тогда почти точно так же, как и сейчас).

Шахматами Эмиль увлекался еще до последнего времени. Правда, играл теперь большей частью сам с собой. Потому как играть было не с кем. Всем постепенно наскучил его вечно мрачный вид. Да те колкости, которыми он иногда с ними обменивался (чаще всего, когда проигрывал).

Эмиль как будто это понимал. И ни на кого не обижался. Он вообще старался не обижаться ни на кого. Да и был большей частью, занят самим собой. Вернее той проблемой, которая нависла над ним, и обозначалась: в виде опасности наступления безумия...

Он мог в любую минуту сойти с ума... И он об этом знал.

Глава 2

'...Порой мне кажется, что все, что я сегодня видел - когда-то со мной уже было. Но это ничто в сравнении с тем, что я боюсь увидеть завтра. Накатывающиеся на меня признаки страха способны в одночасье превратить меня - еще мгновение назад

начинавшего забывать (вернее - не думать) о каких-либо проблемах - в некое подобие страшно забитого мелкого животного, поминутно переживающего за свою жизнь, но вовсе даже и не пытавшего хоть что-то предпринять для спасения. Или нет?.. Я предпринимаю... Предпринимаю самое простое из возможных способов защиты: я просто на следующий день не выхожу из дома. Дверь закрывается на все имеющиеся замки (их число после последней 'модернизации' приблизилось к пяти; да еще столько же на другой двери), плотные шторы не оставляют никакого шанса проникновению внешнего света; в то время как внутреннее освещение зажигается, как говорится, 'на все сто' - помимо огромной десятиламповой люстры в единственной комнате моей однокомнатной квартиры, я включаю светильники на стенах, да на случай 'внезапного отключения света' - у меня наготове стоит четыре подсвечника по пять свечек в каждом: на комнату; и по одному такому же подсвечнику: на кухню, туалет, ванную и прихожую... В итоге, любая связь с внешним миром для меня безболезненно исключается.

И все равно я боюсь. Правда больше всего страх начинает меня преследовать с наступлением сумерек. Все время кажется, что в квартире еще кто-то есть. Вооружившись остро заточенным трезубцем (изготовленным специально для меня знакомым слесарем-фрезеровщиком), я обхожу свое нехитрое жилище - и, конечно же, никакого не нахожу. И тогда как будто страх 'отпускает'. Но проходит какое-то время, - и все повторяется вновь. А я проделываю недавнюю процедуру заново.

Интересно, я как-то поймал себя на мысли, что совершенно не знаю что бы я стал делать, окажись в моей

квартире действительно 'посторонний'. Обладая весьма скромным телосложением, я знал, что решишь кто на меня напасть - и я не буду способен дать никакого отпора. Соответственно и речи о том, чтобы применить трезубец - даже не идет. Но и расстаться с ним не могу. Получается, ношу его просто для собственного 'успокоения'?.. Может быть...

Кстати, интересно и то, что мой страх несет в себе несколько разновидностей. Об одной я уже сказал. Другая, - это страх общения с людьми. Это именно она делает меня добровольным затворником. Причем, что любопытно, - мне не страшны люди как таковые. И если случится какой 'разговор' - я, безусловно, не только сумею его поддержать, но и это не вызовет во мне каких-то особых затруднений. Но вот в чем вся сложность... Я не хочу... чтобы этот разговор начинался. (Для кого-то покажется забавным. Но я действительно не против самого 'разговора'. Когда он состоится, для меня не составит большого труда поддержать его. Но вот только - я действительно не хочу, чтобы он начинался. И я просто панически боюсь первым с кем-нибудь заговорить).

Не раз, пытаясь анализировать свои страхи подобного рода, я приходил к неутешительным выводам: причина страха кроется в боязни оказаться навязчивым для собеседника...

Подспудно сам себя ругаю, пытаюсь убедить, что страх подобного рода ошибочен по своей сути; и любой человек, - если он конечно не хам или не неврастеник, -- вполне спокойно выслушает тебя, но... засевший во мне 'комплекс' сильнее. Когда-нибудь, видимо, и смогу от него избавиться; но вот только: когда это будет 'когда'?..',-- Эмиль положил ручку на стол и откинулся

было в кресле, но словно вспомнив что-то, дернул головой (как будто говоря себе: что ж это я?), вложил свое очередное письмо (а именно 'письмами' он считал то, что записывал) в конверт, запечатал его, и пометил сегодняшней датой (не забыв внести соответствующую запись в блокнот).

-- А что же дальше? - пронеслось у него в голове.- Ведь должен быть какой-то и результат? А что есть цель? Какая она? Нет ли в окутавшем мое сознание (или подсознание?) этой неведомой силы, которая сковывает мои чресла, вынуждая играть в некую, только ей ведомую игру, какой-то закономерности?.. Но если есть закономерность... если есть эта самая закономерность, то получается, что мое участие во всем 'процессе' сводится к такому минимальному проценту, что даже и не имеет смысла к какой-либо борьбе?.. Хотя нет! - Эмиль тряхнул головой, словно пытаясь освободиться от преследующих его мыслей и опасаясь, что она так может договориться совсем черт знает до чего... И уж точно не до того результата, наступление которого подсознательно желал... И ведь наверняка этим он ничего не добьется... В свои 37, он уже мог - по крайней мере себе - признаться, что обратное возвращение (возвращение как он считал: из ниоткуда; ибо то, куда все больше и больше погружался его мозг уже почти повсеместно окутанный пеленой, но еще - с трудом, но еще - державшийся наплаву, иначе и не назовешь, как погружением в бездну подсознания),- будет не то что затруднительно, но и попросту невозможно. В последнее время, - когда он всерьез понял, что преследующая его проблема действительно слишком серьезна, - Эмиль прочитал несколько десятков томов соответствующей литературы. И ни в одной из книг не нашел ответа, что существует какое-либо решение

подобной проблемы. Видимо, 'оттуда' действительно 'не возвращаются'. Поэтому Эмиль всячески пытался отдалить наступление того момента, когда он окончательно сойдет с ума.

-- Эх, как бы хотелось вернуться обратно в детство,-- с сожалением подумал Эмиль, но тут же подумал (эта мысль пришла ему сейчас, но он попросту забыл, что приходил к таким же 'умозаключениям' и раньше), что не стоит ему возвращаться в детство; что результат все равно будет все тот же. Отрицательный. И уж точно не приведет к решению проблемы. Хотя бы потому, что Эмиль и в детстве был такой же, как и сейчас. И происходило с ним то же самое. Быть может только, не было еще столь выражено, как сейчас. Но уже наверняка то, что с ним происходит сейчас,-- следствие не 'приобретенного'. Это 'наследуемое'. И теперь он был более чем уверен (хотя еще недавно подобное казалось лишь 'предположением'), что в его роду был кто-то, благодаря которому он - Эмиль Маковский - пожинает подобные нерадостные результаты. Но если Эмиль с этим и смирился (такой науке как генетика, трудно было что-то противопоставить), то он никак не желал убедить себя в том, что для него уже все потеряно. И что рано или поздно, но он сойдет с ума.

Рано... Или поздно... Рано... Или поздно... Рано... Или поздно...-- Эмиль медленно, обдумывая смысл каждого слова, повторял для себя эти слова, напоминающие больше заклинания ('заклинание' -- от слова кланяться? или проклинать?), и с каждым таким повторением, очередное слово приобретало все новый смысл.

-- Ничего... Я еще поборюсь...-- прошептал Эмиль.

Он действительно сейчас был уверен, что ни за что не сдастся. Ну, по крайней мере, сделает все, что бы этого не произошло...

Глава 3

'...Порой мне кажется, что среди самых труднодоступных и потаенных уголков моего сознания и скрывается какая-то надежда. Быть может, прячется она там, а мы ее не замечаем. Да и сама психика, по-видимому, есть не иначе как отображение проецирования сознания на нашу жизнь. И каким-то необъяснимым образом, именно то, что скрывается в глубинах психики, и является следствием тех поступков, кои мы совершаем; и даже более того,- именно это является тем началом, которое стоит во главе всех желаний и поступков...

Я часто задумываюсь, что же со мной на самом деле происходит такого, с чем я не в силах совладать? Ибо действительно - как бы я ни старался,- но с каждым разом мне все трудней удерживать это 'нечто' (что таится исключительно в глубинах, и выходит на поверхность совсем независимо от моего какого-то желания) под контролем. Мое расплывающееся сознание, сейчас заботит меня куда больше, чем какие бы то ни было еще существующие (наверняка существующие) проблемы.

Но больше всего меня мучает вопрос: смогу ли я вырваться, вырвать свое 'Я',-- из тех потаенных глубин подсознания, пучина которых именуется не иначе как бездной, ибо только из бездны почти невозможно 'возвращение'...

Пока не удастся. Но я и способен до сих пор противиться дальнейшему погружению. Правда, удастся с трудом. И плачу я за

это слишком большую плату. И самое неприятное, в чем она выражается,-- это страх. Тот страх, от которого я не только уже и не мечтаю избавиться, но который с каждым днем все прочнее и прочнее вселяется в меня, руководит моими действиями, вернее - влияет на все действия, совершаемые мной. И как бы я не хотел от него избавиться, - а вначале я даже было не придавал ему серьезное значение, рассматривая этот страх как нечто временное, - мне это не только не удавалось, но, казалось, он и вовсе существует независимо от моего какого-то желания или нежелания. Как бы - сам по себе.

Все оказалось напрасно. Напрасны мои ожидания того, что это когда-нибудь пройдет; ибо не может пройти то, что только начинается. И 'начало' это настолько страшно, что я с каждым разом замечаю, как усиливается влияние на меня совсем уж потусторонних сил. (Хотя нелепо, видимо, называть чем-то потусторонним то, что таится в глубинах психики любого человека; просто кто-то, не подозревая об этом, живет с этим всю жизнь; и оно вроде как не беспокоит его; а у кого-то -- как у меня - все время грозит выйти на поверхность, заслонив собой сознание, точнее - заполнив его).

И что же это на самом деле? Обладает ли оно и на самом деле такой силой, что способно навсегда перечеркнуть все мои предыдущие устремления? Или уже не стоит мне теперь так его опасаться? А все самое страшное что могло случиться, - уже произошло... (И теперь будет развиваться теми темпами, которые не удастся ни замедлить, ни остановить).

И как-то понимаю я, что вроде как, и нет пока силы, способной сдерживать то, начало которому уже положено. И как

непререкаем авторитет 'утра' сменяющего 'ночь' - ведь 'ночь' такое положение дел признает без каких-либо нежелательных с его стороны комментариев (насколько, конечно, может оно что-то комментировать), так и все это происходит без какого-либо участия (и само собой - желания) с моей стороны. Ну, а что до того: появится ли когда-нибудь то, что способно изменить (или хотя бы остановить) подобный процесс?.. Не думаю... И приходится признавать мне это с той долей скептического неудовольствия, которое пока еще позволяет надеяться мне на обратное...!,- Эмиль закончил свое письмо, и внезапно почувствовал такое возрастающее с каждой проходящей секундой желание уничтожить все написанное им, что даже вынужден был выйти в другую комнату, дабы только не поддаться искушению осуществить это.

Через время он вернулся обратно; без какого-либо - как раннее -- удовольствия перегнул листки пополам, вложил их в конверт, и сделав последующие необходимые действия (запечатать, проставить число, месяц, год...), вышел из комнаты. Но потом, вдруг вспомнив что-то, вернулся обратно.

'... Самое страшное сейчас для меня - чувство одиночества. Но подобный страх - наряду с теми, другими фобиями, которые я безошибочно нахожу у себя, - давно уже сопровождает меня. И нет от него избавления. Ибо быть может, если раньше мне удавалось надеяться - и верить в свою эту надежду - что все это временно, то теперь я понимаю, что подобное мое чувство весьма ошибочно. И нет ничего постоянного,-- как временное...!.

-- Надо бы постараться разобраться в причинах подобных страхов,-- подумал Эмиль, отложив бумагу, и обхватив голову руками. Вот уже на протяжении как минимум десяти лет, этот страх с большей или меньшей (были и такие времена) силой окружал его, сопровождал все начинания, вынуждая постоянно вносить коррективы в жизнь, руша недавние планы, и не способствуя никаким самостоятельным мыслям, суждениям, действиям; словно все что происходило или должно было произойти, было уже заранее predetermined; и ему ничего не оставалось, как просто смириться с происходящим.

И чем больше Эмиль осознавал всю трагичность происходящего с ним, чем страшнее и обиднее ему становилось.

-- Так неужели действительно у него не было иного выхода, как элементарно смириться, уподобляясь одинокой маленькой щепке, которая точно так же вынуждена смириться, поддавшись волнам бушующего моря, прибывающую ее к берегу?!- в который уж раз думал об одном и том же Эмиль. Но каждый, подобные размышления заканчивались тоже одним и тем же: ответа он не находил.

Глава 4

У Эмиля действительно пока не было другого выхода. Но еще труднее ему было от осознания того, в каком двояком положении он находился.

С одной стороны, Эмиль Маковский еще до недавнего времени был вполне преуспевающим адвокатом, выигравшим не одно дело в суде (что обеспечило ему славу в определенных кругах, и соответствующий финансовый доход). Проблем с

клиентами почти никогда не было. И это при том, что у Маковского были какие-то свои принципы, в соответствии с которыми он, например, никогда не брался за дело, если не был уверен что его клиент по настоящему не виновен. (Правда, границы этого 'настоящего' Маковский устанавливал сам). Но принципы есть принципы. И это совсем бы не было какой-то проблемой, если бы...Если бы не то состояние, которое все чаще вносило свои коррективы в его жизнь.

Эмиль чувствовал, что с каждым разом ему все труднее и труднее удерживать в жестких рамках свой разум. В иные разы, тот и вовсе грозил выйти из-под контроля. И если случится такое, Эмиль почти не сомневался, вернуть его обратно уже будет нелегко. А то и вовсе невозможно.

С каждым годом проблема становилась все серьезнее. Если раньше - особенно с самого начала, когда ему было еще только 'начало двадцати', и он впервые заметил некоторые странности в возникающих у него мыслях - которые - не сдерживая себя - готовы были вылиться в серьезные неприятности, ну, или скажем, недоразумения, причем те наверняка были способны перейти и с неприятности - Эмиль не придавал этому такого уж слишком серьезного значения. Скорей всего, из-за молодости (ведь незначительный жизненный опыт никак не способствует тому анализу наших поступков, благодаря которым это помогает нам ни только впредь не совершать подобного, но и в дальнейшем в какой-то мере регулировать подобный процесс).

'... По всей видимости, когда-нибудь должно наступить то состояние, когда я уже не смогу воспринимать в той мере, в которой это заслуживает получаемая от жизни информация. И для

меня такая информация уже будет какой угодно, но только не 'объективной'. И что тогда мне останется думать о себе, если и сама способность 'думать' - будет весьма относительна. Если конечно, вообще она сохранится. (О чем думают все те несчастные, к стану которых судьба скоро причислит и меня? Думают ли они вообще о чем-то? Ведь даже если и предположить что это так,-- наверняка их мысли уже не несут в себе того положительного заряда какой-то 'осмысленности', которым характеризуются размышления относительно здорового (психически здорового) человека. И можно ли вообще это будет назвать мыслями?..',-- Эмиль отложил свои записи. Иногда ему становилось удивительно тяжело писать. Беспорядочно возникающие мысли начинали путаться в голове. Но если он не писал, - ему становилось еще хуже.

Есть ли этому, более-менее логически здоровое объяснение? Наверняка есть. Но то, что Эмиль знал наверняка, - совсем не писать он не сможет. Да и как-то не хотелось лишать себя надежды, что он сможет когда-нибудь со всем этим разобраться. А записи... Записи ему пригодятся для анализа. Анализа того, что с ним (и главное,-- как?!) происходило. Ведь он старался по возможности фиксировать любые маломальские детали. И если кто-то сейчас не находил всего того, что испытывал Эмиль на самом деле,-- это всего лишь могло означать только то, что Вы прочитали еще не все. Или он что-то все-таки бессознательно утаивал. Не мог написать. Боялся. Вернее - сопротивлялась психика, чтобы так то уж все и сразу - извлечь на поверхность. Ведь сознание - это и есть та 'поверхность', при появлении на которой, что-то (что доселе скрывалось в

подсознании) могло и исчезнуть. Об этом Эмиль знал. Но он не знал, как воспользоваться ему своими 'знаниями'...

И он не оставлял попыток остановить те - наверняка уже необратимые - последствия, которые происходят с его сознанием. И он знал, что важно не только остановить, но и не допустить повторения в дальнейшем...

'... Будет ли когда-нибудь по настоящему легко, -- вернулся Эмиль к недавним записям. - Тревога, которая периодически полностью заволакивает мой мозг, заменяя собой некогда существующие желания (корректируя и направляя в стремлении подчинить мое 'Я' новым обстоятельствам), просто вынуждает меня подчиниться. Я понимаю, что не в силах справиться. Меня в буквальном смысле 'трясет'. 'Трясет' так, что хочется забиться в самый дальний и незаметный уголок комнаты. Втиснуться в него, как прячется мышь в нору при первой опасности. И быть может оттого, как-то стал я ближе в последнее время относиться к этим маленьким и беззащитным тварям. Да почти таким же беззащитным ощущаю себя и я. И кажется что еще мгновение, и что-то неминуемо должно произойти и случиться уже со мной. И я не нахожу себе места, в ожидании 'неизбежного'...

Совсем недавно мне показалось, что я вроде бы нашел выход хоть немного снять напряжение, в котором находился. Я поставил дополнительную (уже третью по счету) входную дверь. И почти вдвое увеличил количество замков. Но это было еще не все. На улицу я теперь выходил только ночью. Боязнь и нежелание появляться где-нибудь днем, вероятнее всего базируется на элементарном страхе общения. Большинству из Вас, пожалуй, это

и непонятно; но мне действительно становится страшно оттого, что я в любую минуту ожидаю, что кто-то со мной заговорит. И от одного представления 'такого',-- у меня сразу же начинается нервно стучать сердце, как будто сердечный клапан быстро-быстро включает максимальные обороты, а сама перегоняемая по венам и сосудам кровь заметно ускоряет свое движение.

К этому действительно можно относиться с любой долей непонимания. Но мне действительно страшно. И чем больше я ожидаю чего-то подобного, тем становится еще страшнее. (Мои попытки анализировать природу страха, почти ни к чему не привели. Я как-то нашел, что различные люди вкладывают в одно и то же понятие - разное значение. Мне показалось, что страх - страху - рознь. Причем, на удивление, меня совсем не страшил страх увидеть каких-то злых и диких зверей; страх быть внезапно убитым, или погребенным под обломками рушившегося здания. Я почти не боялся быть сбитым проезжавшим автомобилем; погибнуть в авиакатастрофе; или, скажем, сгореть от внезапно начавшегося пожара. Я, как оказалось, не боялся многого. Но я невероятно боялся того страха, который был запрятан глубоко в моей психике. И природа его, была, пожалуй, намного сильнее, чем другие 'страхи'. Хотя бы уже оттого, что вероятность наступления катастроф или появление в городе диких зверей,-- намного меньше, чем возможность выйти на улицу)'.

В какой-то мере, Эмилио все же удалось ограничить свои выходы на улицу. Он, например, оставил адвокатскую практику и теперь работал дома. За компьютером. Сотрудничая с различными журналами (философскими, литературными, психологическими...), он отсылал им статьи по электронной почте.

Гонорары ему пересылали почтовым переводом. И тогда, конечно, он все же заставлял себе выходить из дома. (Да еще ведь необходимо было сделать хоть минимальные, - аппетита давно уже не было, - покупки в магазине).

Но вскоре он и здесь нашел выход. Деньги теперь переводились ему на банковскую карточку. А продукты он заказывал на дом.

И как только стало так, то тотчас же - страх уже завладел его сознанием почти полностью.

'... в такие минуты я полностью замыкаюсь в себе... отключаю телефон; не отвечаю на звонки; не включаю свет; двойными толстыми балдахинами зашториваю окна; дополнительно блокирую дверь, заставляя ее десятикилограммовыми блинами от штанги (когда-то ведь пытался заниматься), которые аккуратно перекаत्याю к двери и ставлю друг на друга так, что они чем-то начинают напоминать стопку фишек в казино.

Кроме того, с недавнего времени я установил на всех окнах жалюзи. И теперь моя квартира действительно стала походить на крепость. И, думаю, если кто решит вдруг проникнуть в нее - так просто это ему не удастся.

Правда, еще, конечно, могут 'пробить' пол. Или потолок. Но я думаю, что в самое ближайшее время и от подобного 'варианта' найду какое-либо решение защиты.

...Впрочем, иногда в моем сознании происходят неожиданные просветы... И тогда мне становится стыдно... А я чувствую себя абсолютным дураком. Ну, или, идиотом...!.

Эмиль встал и подошел к окну. Он осторожно выглянул наружу. Вечерело. Отсвечивающие в зажигающихся фонарях бледно-желтые, неровными рядами падающие, снежинки заполняли простирившееся перед ним воздушное пространство. Словно приглашая Эмиля выйти на улицу.

Такая погода была настоящим подарком. Ветер (подбрасывающий в прохожих сцепляемые друг с другом снежинки) просто вынуждал людей ускорить шаг. Эмиль знал, что в такие минуты никто не думал о каком-либо 'общении'. Все стремились побыстрее запахнуть в теплые воротники, да укрыться в своих домах. И уж точно, никому было не до разговоров. А если и случались таковые, то носили они большей частью, вынужденный характер. А то и происходили между родственниками или товарищами, оказавшимися в такое время на улице.

Но родственников у Эмиля не было. Его родители погибли, когда он еще учился в школе. Бабушка, воспитывавшая его, умерла несколько лет назад. А братьев и сестер ни у него, ни у его родителей, ни у родителей родителей (его бабушек и дедушек) - не было. Он остался один. Один еще и потому, что всевозможных друзей (которые еще вопрос - были ли?) он растерял еще в студенческие годы. А то и в школьные. Потому как, учась в институте - знакомств уже не заводил. (Да он как-то и привык к одиночеству).

Эмиль с минуту смотрел на открывающийся перед ним вид из окна, словно раздумывая о чем-то; потом на его губах появилась загадочная улыбка. Было видно, что он принял какое-то решение.

И действительно, не прошло и нескольких минут, как Эмиль оказался на улице.

Куда идти,-- особого плана не было. Да это и неважно. Просто Эмилю вдруг захотелось почувствовать себя в некоем привилегированном положении по отношению к другим. Ведь может так случиться, что на ближайшие несколько километров только ему одному и нравилась такая погода.

Эмиль шел по улице, с удовольствием вглядываясь в лица прохожих, которые они прятали от вздымающегося вверх мокрого снега, и ему сразу стало как-то хорошо и спокойно на душе. Он понимал, что, быть может, впервые за последнее время чувствует себя уверенно на улице. И ему хотелось идти и идти дальше - на какое-то время, забыв про еще недавно мучившие его сомнения; и хотелось сейчас думать только о том, что уже ничего не изменится, и не случится. И что так будет продолжаться вечно. Всегда.

ЧАСТЬ 2

Глава 1

'Мне иногда кажется, что все происходящее со мной не иначе как чья-то нелепая шутка. Что вот пройдет еще какое-то время, и кто-то скажет - все! Можно отдыхать! То, что уже случилось - больше не повторится!..',-- Эмиль сделав эту короткую запись, на миг задумался: является ли только что написанное им - 'отдельным' письмом? Понял, что это не совсем так, и просто отложил лист. Так уже было с ним и раньше. Порой приходило желание что-либо писать. Появлялись сомнения (сколько их уже было, этих сомнений?): а стоит ли и дальше,

буквально иной раз с трудом, 'выбрасывать' эти строчки из воспаленного мозга? Не лучше ли просто смириться с происходящим? Но тогда выходит, что он должен на самом деле просто-напросто ждать... Ждать очередного шага, которое предпримет его распадающееся сознание... Но тогда уж точно не будет возможно никакого пути назад. И придется просто смириться с происходящим.

Но в том то и дело, что когда в полной мере захватит его это 'происходящее' -- он не знал. И наверняка не почувствует. Ведь разве может душевнобольной человек (а таким он был независимо от того, признавал он это или как-то противился) чувствовать, что он болен? Ведь если и может, то мы, скорее, должны говорить о какой-то пограничной стадии. Когда еще вроде как 'здоров', но уже одной ногой стоишь в той пропасти, которая зовется сумасшествием. Ведь, одно дело, когда на фоне относительного спокойствия психики случаются внезапные порывы пропадающего сознания. И совсем другое, - когда эти моменты уже не внезапные, а постоянные. Вот тогда действительно не будет пути назад. А что остается?.. Нет..-- Эмиль ужаснулся собственным мыслям. - Если такое случится, - дальше он жить не сможет. Да и это, скорее, будет напоминать только существование. Выживание. И чем он тогда будет отличаться от животного? Или от человека, но... ребенка, младенца? И это покажется еще более ужасным оттого, что животное таким родилось изначально. Это его судьба. Что до ребенка, так ребенок тоже вряд ли что-то еще осознает. Но ведь он через какое-то время станет взрослым. А он?.. Что станет с ним, Эмилем Маковским, если он потеряет рассудок?..

Глава 2

'Сегодня мне стало еще хуже. Это можно списать на случайность. Но я все чаще замечаю, что состояние моей психики только ухудшается. Словно внутри меня разверзывается бездна. И весь я медленно стекаюсь туда, периодически проделывая сальто и кульбиты с собственным разумом и сознанием. Что происходит? Постепенно исчезает надежда, что когда-либо прекратится это движение. Это падение в пропасть. В бездну. В самую ужасную бездну, из которой вы если и можете выбраться, то только абсолютным идиотом. Дураком. Что в принципе одно и то же. А что до того: прекратится ли когда-нибудь подобное? Да я уже вроде как и не думаю об этом... Да и что кому-то до моих мыслей? Но ведь я это все заметил не сегодня. И не вчера. С подобными странностями я встретился давно. Но вот загадка? Я даже не помню, предпринимал ли когда серьезные действия, чтобы разобраться с этим?.. Как-то попытаться заглушить... Заглушить ту боль, которая давно уже таилась внутри... Но быть может тогда, -- она не заявляла о себе столь часто, чтобы я мог как-то начать задумываться об этом?.. Пытаться искать какое-то противостояние?! Не было... Ведь почему-то и правда не было такого... И с тех пор, конечно же, ничего не изменилось. Лишь только заметно усилилось то, что раньше только намечалось. А процесс... Процесс уже стал необратим... И он настолько быстро движется (получается 'скатывается') по наклонной, что его уже не остановить. И как следствие этого, с каждым прожитым годом, месяцем, днем - становится только хуже.

Неужели и правда, не остановить?.. Слово то, какое?..
Страшное слово... Раньше никогда и не задумывался я, какие
страшные бывают значения у некоторых слов... И большинство
подобных 'значений' слов, больше как никакие другие, говорят о
неминуемой необратимости того, что уже наступает...

Сейчас мне, пожалуй, следовало бы думать о том, как
еще на время - пусть малое время - сохранить то, что осталось.
Сохранить какую-то способность думать... Быть может даже
пытаться что-то сопоставлять, анализировать действительность;
поступки... Конечно же, свои поступки...

Боюсь... Я очень боюсь признаться себе в том, что я
бессилен. Что мой разум не подвластен мне. И что остается только
просить у него... просить не уходить... Не оставлять меня наедине
с пустотой... С той пустотой, которая неминуемо окружает тех, кто
оказывается в схожих с моим, страшных состояниях... Считается,
правда, что они его не ощущают. Что живя в выдуманном мире,
такие люди словно дистанцируются от окружающих... От
окружающих проблем... Окружающих в нормальной жизни... И с
тех пор как это произошло, они несут свой крест...

Покажется ли кому спорным, но в том состоянии, в
котором я находился сейчас, мне казалось, что, чуть ли не каждый
человек (в той или иной мере) несет свой крест. Вся наша жизнь
состоит из неминуемых страданий и несчастий. А какие-то
радости,-- лишь горькое свидетельство того, что сразу после них
обязательно наступит какое-либо несчастье. Случится
неприятность. Боль. Горе.

И я так действительно считал. Считал, почти всегда.
Наверняка, еще с детства. Быть может, раннего детства. Но вот

только сейчас я впервые я задумался о том, что я вполне мог и ошибаться. И на самом деле, порядок мироздания совсем иной, чем он казался мне. Почему я это исключал раньше. Ведь не может быть, чтобы мысли об этом не приходили мне в голову. Значит,-- я сознательно отбрасывал их. Открещивался, быть может, действительно от 'явного'. От того, что было на самом деле. А не от того, что только раз показалось мне, а я это принял за правду. За какой-то правильный путь. Путь, который на самом деле был ложным и ошибочным.

Что же мне делать сейчас?.. Ведь если бы сейчас постараться остановить тот процесс, который медленно забирает у меня остатки разума, сознания, интеллекта... То разве не показался бы я даже самому себе самым счастливым человеком?! Счастье-то, как оказывается, для каждого свое... А я готов признать за счастье - то, что имеет большинство. Но как-то не ценит это. Словно воспринимая 'как должное'. И совсем не задумываясь о том, что происходит с любым из этих людей, если они вдруг потеряют свой разум. И сойдут с ума. Тогда уж точно они совсем запутаются в вопросе о счастье. Да и задает ли кто подобный вопрос. Кроме меня. Но может я уже сумасшедший?..

Нет... Видимо все таки пока нет.. Но это будет... Я даже знаю наверняка, что будет. Ведь именно к этому все идет. И обманывать можно кого угодно, но только не себя. Ведь я уже никогда не буду такой, как прежде. Никогда не смогу как-то иначе оценивать окружающий мир, кроме как с позиции начинавшегося у меня безумия...

А ведь действительно... Раньше я даже позволял шутить по этому поводу... Когда (все так же 'шутя') стремился

подвергнуть совсем ненужному анализу то, где по самому принципу, какой-то 'анализ' был не нужен. Но ведь я, помнится, считал совсем не нужным сдерживать собственные мысли... Тем самым, только 'нагнетая обстановку'... А моя психика подвергалась и совсем не нужным 'напряжениям'... Даже скорее, какой-то невероятной 'напряженности'... Излишней, по сути... Но которое в том периоде ранней молодости, когда я проделывал это - еще совсем и не оценивалось с тем негативом, которое это вызывает во мне сейчас... Да и... раньше я и переносил все это намного легче... А мое сознание, видимо, еще не было настолько затуманено тем, от чего сейчас я просто хочу избавиться... Но уже не могу...

На она и молодость... А ведь предупреждали меня... Кто-то даже напрямую говорил о грозящем мне в будущем безумии... Но тогда я как-то слишком легко относился к этому...

Не то, что сейчас...'

Глава 3

'Никогда - вы слышите - никогда уже не вернется прошлое. Но так случается, что именно о прошлом мы всегда сожалеем. Воспоминания тревожат нашу память. Вынуждая, иной раз, вспоминать то, что казалось навсегда уже скрыто от нас.

Становится ли нам легче? Да быть может и так. Но иногда приходит самая настоящая боль...

Но разве об этом мы сейчас?.. Главное - уже сам факт наличия подобной способности нашего мозга. А уже, какие будут воспоминания,-- это вопрос вторичный. Хотя иной раз случается и так, что все эти воспоминания - приводят к исключительнейшим

страданиям. И мы совсем не способны после этого жить своей прежней жизнью...

Но уже с другой стороны, появляется и еще одна возможность отличить честного человека - от негодяя. Ведь чаще всего, страдают и переживают за свои былые поступки люди ранимые и совестливые. А что до подонков... Так я их и за людей не считаю вовсе...', -- Эмиль попробовал, было, еще что-то написать, но мысль уже ушла, и он отложил бумагу, сложив эту и предыдущие записи - лежащие тут же на столе - в конверт, и, проставив необходимые численно-буквенные 'характеристики', положил конверты в ящик стола.

Совсем недавно ему пришлось признать еще одно свое поражение в борьбе с разумом за выживание. Эмиль стал терять память. Вполне возможно, что и раньше с ним происходило что-то подобное. Да и наверняка это началось не сейчас. Но если в то время еще была возможность хоть как-то контролировать ее, то теперь Эмиль мог признать, что начинает проигрывать. Память уходила от него. Еще по-прежнему это случалось не каждый раз; но все таки 'провалы' в памяти случались все чаще. А иной раз и вовсе приходилось вспоминать: что он забыл сделать?

Эмилю внезапно расхотелось о чем либо думать. Достав из холодильника бутылку 'Виски', он плеснул в бокал, и, чуть поморщившись, одним глотком выпил содержимое.

Делать что-либо сегодня уже не было никакого смысла. Он хотел, было, подойти к окну, но, внезапно передумав (что смотреть: зима - как зима!), сел на диван и щелкнул пульт телевизора.

-- А что если мне жениться? - пришла в его голову сумасбродная мысль. (Сумасбродной она казалась потому, что две предыдущие попытки совершить нечто подобное - закончились, по сути, так и не начавшись). И ведь не сказать, что как-то плохо он относился к женщинам. Он вообще себя считал 'прирожденным эстетом', и при случае (если вдруг кто-то случайно спрашивал его мнение) мог рассказать, по каким, на его взгляд, 'критериям' стоило оценивать эту самую женскую красоту. Но это что касалось теории. На самом же деле, какая бы женщина не казалась ему красивой, он бы ни за что не допустил, чтобы она находилась рядом. Он просто не мог представить, что кто-то будет постоянно рядом?..

Впрочем, вероятнее всего, сторонний наблюдатель все же высказался бы в духе того, что Эмиль женщин боится. И при нашем уважении к Эмилю, можно было бы даже признать, что это так. Но вот что было самому Эмилю и до нас, и до этого гипотетического 'стороннего наблюдателя'. Эмиль давно уже был погружен в свои мысли. Он стремился как-то разобраться в том, что происходит с ним. И к любым выводам, должен был прийти самостоятельно. Иначе бы им не поверил.

И вот теперь он задумался над тем, не приведет ли его пока еще неокрепшее желание начала каких-то отношений с женщинами (по всей видимости, это будут семейные отношения), привести его к еще большим страданиям? И по всему выходило, что это как раз так и получится. Ведь поверить в то, что он сможет безболезненно для себя (для психики) реагировать на какие-нибудь упреки женщины,-- было невозможно. А значит, вполне возможно, что это приведет к еще душевным терзаниям? И тогда

его психике придется испытывать уже двойную нагрузку. И то, что это все только ухудшит ее способности к сопротивлению, - было бесспорным фактом. А значит, на кой оно нужно!?- и Эмиль махнул рукой, решив навсегда отказаться от подобной 'затеи'.

Глава 4

'Надо дать позволить себя увлечь каким-нибудь делом,-- записал он.-И чем продолжительнее будет его выполнение, тем будет несравненно лучше. Ибо любое быстрое завершение, просто-напросто отбросит меня к началу. Но придется не только в этом случае выдумывать какую-то новую идею, но и я просто обязан буду думать о том, чтобы она смогла увлечь меня. Увлечь настолько, чтобы я смог забыть о мучавших кошмарах ночью, и тревогах со страхами - днем... Иного не дано...',-- Эмиль в который уж раз откладывал один и тот же лист бумаги. Нечего не выходило. Если раньше, любая предпринимаемая им попытка записать собственные мысли завершалась тем, чего он и добивался, то теперь о чем-то подобном оставалось только мечтать.

'... Это было еще более странным,-- он все вернулся к записям,- что внешне я и не так уж ощущаю значительных изменений в сознании. И сейчас все тоже, что было и неделю назад. Или месяц назад. Или... (Нет, пожалуй, год назад все же все было несколько иначе...). Но уже месяц, все как будто держится на прежнем уровне. Даже страхи вроде как отступили... Ну, по крайней мере, несколько дней их не было...'. Эмиль задумался. А ведь на самом деле, то, что он называл 'страхами', появлялись тогда, когда у него было запланировано какое-то мероприятие. То

есть, когда ему необходимо было куда-то идти. С кем-то встречаться. А если этого не было... А если этого не было - то не было и страхов!?! (Эмиль пришел к совсем уж неожиданным результатам). Значит, волнение появлялось тогда, когда необходимо было совершать какие-либо действия?! А если в этом нет необходимости, и я знаю, что точно буду находиться дома...

-- Ни страхов, ни волнений, ни тревог - тогда не возникало. Его психика в таком случае была предоставлена сама себе, и получалось,-- могла сама с собой договориться! - Эмиль готов был вскочить и захлопать в ладоши от такой догадки. (Что-то все-таки помешало ему это сделать).

И тогда уже получается, что именно это обстоятельство - и заставляет меня безвылазно сидеть дома,-- догадался Эмиль (но мы совсем не знаем, записал ли?..).

'Появление мыслей о совместном проживании с женщиной,- скорее всего, моя очередная попытка уйти от собственных проблем. Что-то (не знаю что) до сих пор не позволяет мне признать всю безосновательность подобного желания. Ведь вполне ясно, что для меня, нахождение кого-то рядом,-- почти неминуемо приведет к тому, что я куда-нибудь сбегу.

А чего же я, получается, тогда хочу?

Не знаю... Вернее, хочу-то я только одного: чтобы те процессы, которые происходят сейчас в моем сознании (мозг, ли это? Психика? Называть можно по-разному. Так же как и искать, где базируется мое безумие. Но это все - суть одного. И не имеет значение сейчас, как-то это все разделять).

Я действительно хочу этого. Хочу просыпаться, и как большинство людей - радоваться жизни. Хочу, просыпаясь утром, не бояться этого дня. Не ощущать тревожное беспокойство в сердце. Хочу честно, смело, и открыто смотреть в глаза другим... Вот наверное чего я хочу.

Хочу, я, наконец, не чувствовать себя загнанным зверем (ибо ничто не может быть страшнее этого состояния). Что я хочу?! Да кого сейчас волнует: что я хочу? Все равно то, что происходит сейчас, - совершенно не зависит от моего какого-то желания. А значит... значит я по-прежнему буду медленно сходить с ума... И все, что я смогу еще успеть (хоть частично),-- это 'записывать' свое состояние. Уже и не надеясь, что этими записями, мне удастся помочь себе. Да и удастся ли?..!.

Глава 5

'...Интересно, но вырисовывается одна занимательная тенденция. Каждый день (и на самом деле -- каждый день) обязательно случается что-то, что моментально выводит меня из колеи. И тогда уже, на все остальное время -испорчено настроение.

Происходит это утром, днем, вечером... Всегда в разное время, и без какой-либо возможности к предугадыванию.

Попытавшись проанализировать эти обстоятельства и найти причину, я поначалу пришел к выводу, что подобное возможно только в том случае, если на этот день у меня запланирована с кем-нибудь встреча. Однако, вскоре понял что ошибаюсь. Как оказалось, все на самом деле намного серьезней и трагичней. Если даже в какой из дней я ни с кем не общаюсь, и

даже если какого-то 'общения' и не предвидится, ощущение какой-то тревоги приходит все равно. И происходит так оттого, что я просто начну вызывать в себе ощущение какой-то опасности. Искусственно вызывать, все больше и больше 'накручивая' в своем воспаленном воображении каток каких-то несуществующих проблем. Анализируя, зачастую, несуществующие разговоры, взгляды, жесты, поведение которое никто никогда не совершал. Но мне не только кажется, что так было и на самом деле. Но я просто уверен в этом. И ничто не способно меня отговорить, или помешать, переключить мое внимание, чтобы я не делал так. Мне это видится именно так. А значит...', -- Эмиль привычно пробежал глазами прочитанное. Так все получалось на самом деле. Он знал об этом. Знал, что зачастую никакой реальной причины - просто не существовало. Знал о своей 'мнительности'. Знал о том, что ему все время что-то 'кажется'. И тем не менее, он не знал как от этого избавиться...

И это было ужасно. Слишком ужасно, чтобы позволить себе не замечать этого. Но еще более это казалось ужасней оттого, что создавалось впечатление, что такое никогда не прекратится. А значит, ему будет суждено жить со всеми этими ужасами вечно.

--Эмиль?! - на том конце провода раздался приятный голос. Звонила бывшая однокурсница. Но он бы не вспомнил ее, если бы Анна - так звали женщину -- не 'представилась'. (Вот и подарок судьбы,-- усмехнулся про себя Эмиль.-Быть может и правда жениться?).

Как оказалось, за долгие годы отсутствия в городе (Анна в свое время уехала не только из города, но и из страны; причем, как помнил Эмиль, сразу после окончания института), девушка

растеряла телефонные номера всех знакомых. Кроме... Эмиля Маковского. И звонила ему,-- 'с надеждой на встречу' (о чем радостно и призналась).

Но Эмиль подобной радости не разделял. И тревога, которой, он уж было, подумал, сегодня удастся избежать, наоборот, со всей беззастенчивой откровенностью заявила о себе.

Но проявляла неожиданную 'настойчивость' и Анна.

--Ну зачем мне с ней встречаться?- думал Эмиль, пытаюсь тянуть время, и вполуха слушая о чем-то щебетавшую девушку.- Будучи от природы очень мягким человеком, он как-то и не представлял себе, что же ему придумать, чтобы отказаться от встречи. Неожиданно в его голове пронеслась 'гениальная' идея: сослаться на необходимость сиюминутного отъезда в другой город. (Причем сразу куда-нибудь 'далеко'. Чтобы 'не ждали').

Но оказалось, Анна была настроена решительно.

-- Что ж. Придется встречаться,-- с сожалением подумал Эмиль.

Но положив трубку, он начал невероятно переживать по поводу необходимости этой встречи. Желания куда-то выйдти из дома, не было. А уж встречаться с бывшей однокурсницей, и подавно. Что ему может принести эта встреча? Как отреагирует Анна на его теперешнее состояние? Конечно, раскрывать ей всего - он не намерен. Но ведь она может догадаться и по его внешнему виду?! Хотя, видно ли что по его внешнему виду?- Эмиль задумался, представляя себя (посмотреть в зеркало он даже не догадался. Уж слишком хаотичными были сейчас его мысли, да беспокойно было у него 'на душе'). Да и чувство тревоги не отпускало. А то и наоборот - с каждой минутой приближения

нужного часа (встретится они должны были около их 'альма-матер'), ему становилось все хуже.

И уже получалось, что нужно было и выходить. Эмиль уже давно предпочитал передвигаться только пешком. (И в общественном транспорте, и в такси - предполагалось что Вас будут 'рассматривать', 'изучать', а то еще и заговорят с Вами. Поэтому Эмиль уже давно исключил для себя любые поездки).

Вскоре он уже не находил себе места. Нервно ходил по квартире. Курил одну сигарету за другой. Даже сделал несколько глотков коньяка - 'для уверенности'. Ничего не помогало.

Внезапно, в голову Эмиля пришла удивительная мысль. Удивительная - в том смысле, что она предполагала необычайно простое 'разрешение' проблемы.

--А что если вообще не встречаться? - подумал он.

--Ну нет! Ты не можешь так поступить!!-- попробовал, было, возмутиться его внутренний голос.

--А почему бы и нет?-- Эмилю становилось заметно легче.- Не есть ли это как раз то, что мне и надлежит сделать?- уже при этих словах (самому себе) Эмиль почувствовал, как начинает успокаиваться.

Действительно, решение как будто бы пришло само собой и... оказалось верным. Что ж. Так он и поступит.

Успокоившись, Эмиль замер на месте. Вдруг, его глаза как будто принялись что-то 'отыскивать'. Он скользил ими по книжному шкафу, набитому книгами (еще в то недалекое прошлое, когда он мог что-то читать), по книжным полкам (в шахматно-лестничном порядке занимавшим другую стену), по письменному столу, на котором хаотично были навалены какие-то

бумаги, папки, тетради, открытые книги, брошюры, журналы, газеты, разноцветные ручки, карандаши, да всякая канцелярская мелочь, которая зачем-то была разбросана на его столе...

Внезапно Эмиль почувствовал, как его голову - с висков и куда-то вглубь - стянуло какими-то жесткими тисками (так, что создалось ощущение надетого на голову колпака). Сердце принялось истошно колотится, внезапно замолкая почти до полной остановки, и принимаясь за свой отчаянный бег снова. Эмилю стало трудно дышать. Слишком трудно, чтобы это можно было терпеть дальше.

Он быстро шагнул к окну, и чуть ли не выдавил его наружу. Тотчас же свежий воздух хлынул в комнату. Но вот легче от него не стало.

Эмиль бросился на диван и с силой сжал голову руками. Внутри него все буквально разрывалось на части. Он сполз на пол. И тотчас же попытался сжаться в комок, принявшись перекатываться с места на место, то устремляясь куда-то вперед, то оказываясь снова там, где он был раньше; и ему казалось, что ходил под ним пол, забивали в его голову тупые болванки, да извивались мозги, выбрасывая в разные стороны фонтаны оставшихся, и неожиданно нахлынувших на него мыслей-воспоминаний... Так, что все, что было самое болезненное и трагичное в его жизни, -- принялось теперь проноситься перед его глазами; словно были это специально с режиссированные кадры какой-то чудовищной кинохроники, а не его жизнь; но он знал, что это была его жизнь; потому как, удавалось в этом сумасшедшем беге различать ему некоторые отдельные детали из своей жизни; причем подобрал этот невидимый режиссер те самые кадры, от

которых давно ему уже не хотелось жить. И вот сейчас они появлялись перед ним 'разом', как будто кто-то специально испытывал его на прочность, и...-- Эмиль не в силах был больше испытывать это. Он давно уже находился в каком-то тумане... Словно какое-то пятно стояло у него перед глазами. И даже казалось, что все происходящее он видел не своими глазами, а каким-то внутренним чувством. А может, и не видел вовсе. А только чувствовал. Чувствовал, что не может больше выносить эту боль. Да и зачем же ему терпеть ее,-- словно подсказал ему кто. И Эмиль был согласен с этими словами. Ведь они несли в себе лишь желание помочь ему. И ничего больше. Вроде как, ничего больше. И в какой-то момент он совсем перестал понимать, что происходит. И извивался и крутился по полу в каком-то немислимом комке из плоти, так что и невозможно было разглядеть - человек ли это вообще? Да и лицо его уже давно исказилось до неузнаваемости в какой-то страшной гримасе. На время, как будто, его 'отпустило'. Он с трудом подполз к открытому окну, и, зная, что не выдержит повторения подобного, - перекатился через раму...

28 января 2004 год.

Повесть

Убить в себе врага

«...во многой мудрости много печали...»

Екклесиаст 1:18

Часть 1

Глава 1

Все выходило так, что для него уже и на самом деле не было никакого спасения.

Осознание тяжелой боли, в которой повинен был он, тяжким грузом и навсегда повисло в его душе. Подтачивая его силы. И медленно ведя к смерти.

Кто установил эту медленную смерть?

Сам он хотел умереть сразу.

Но жизнь распорядилась таким образом, что если бы он ушел сразу, то причинил бы еще больше боли. Уже другим людям.

Среди которых были те, кто в этом совсем был не повинен.

.....

....

Иногда осознание произошедшего (от воспоминаний прошлого) настолько переполняли Владимира, что ему хотелось разом закончить эту муку.

Успокаивался. Постепенно он успокаивался, заставляя себя не мучиться прошлым настолько, чтобы прекращать настоящее. Еще было рано. Еще надо было жить. Жить, превращая жизнь в мучения, и уже этими мучениями искупая вину. Вину перед близкими, которых предал в обмен на призрачный свет любви. В итоге так и не состоявшейся любви. Но с момента предательства, смерти, и того, как расстался он с виновницей раздора -- прошло несколько лет. И уже почти столько же прошло с тех пор, как остался он один. Теперь уже совсем один.

Да и ни с кем жить ему не хотелось. Разве что с теми, кто по его черствости ушел из жизни. Но их было уже не вернуть.

.....

..

Мне становилось мучительно больно от того, что совсем невозможно было возвратить прошлое. Наверное, в этом уже была какая-то закономерность, что сначала мне приходилось что-либо совершать (будучи при этом уверенным в своей правоте на тот момент). А после - уже мучительно раскаиваться в совершенном.

Можно было, конечно, предположить, что такая жизнь. Но уже тогда - к черту такую жизнь. Жизнь мучительную и нелепую. Жизнь наверное даже несчастную. Притом что как-то не очень хотелось признавать это несчастье. Но ведь и иного, наверное, не дано.

И уже возникал выбор: страдать или не страдать. Если страдать, то почти наверняка это означало, что мне предстоит и в дальнейшем обречь себя на все новые страдания. И как бы ни пытался я выкарабкаться из этого, не так-то и просто подобное было сделать, а то и вовсе невозможно.

И тогда возникал практически один способ избавиться от всей этой мучительной навязчивости. И способом этим было - заставить себя перестать страдать. Представить, что все на самом деле не совсем так печально, как было. Что есть силы, способные исцелить меня. И уже если так, то почти наверняка в таком случае можно было надеяться, что мне действительно удастся избавиться от этой мучительной боли внутри меня. И станет легче. Станет наверняка легче.

Глава 2

Конечно, я понимал, что судьба сама посылает все новые испытания.

И при этом самое любопытное было - что я считал их оправданными. Вероятно, так и на самом деле должно быть. Ну, исходя из того, что попросту совсем ничего не бывает в природе случайного. И все что происходит с нами, подчинено закономерности. Закономерности, понять алгоритм которой быть может и не представится возможности. Но по всему, это быть может и не так уж важно. Необходимо само написание исповедальных вариаций. Ну а уже то, к чему это на самом деле приведет?.. Так может и ни к чему.

И зачастую выходит так, что мне иной раз казалось, что может совсем и не стоит далее мучиться, а попросту признать все совершенное и совершаемое ошибкой. Я уже понимал, что считать так окажусь не способен.

Просто обстоятельства складывались таким образом, что я, во что бы то ни стало, должен был продолжать бороться. Должен уже хотя бы потому, что в ином случае, стоило мне остановиться и сдаться,-- и последующим шагом... да и вообще,-- уже означало бы это как бы мое признание ошибочности произошедшего со мной. И наверное даже,--признание того, что я на самом деле больше ни на что не способен. Кроме как...

А вот тут уже была очередная загадка. Ибо, в такие минуты я ловил себя на мысли, что на самом деле и не способен в полной мере ответить, на что я могу быть способен. В плане позитивной полезности существования.

Ибо получалось так, что я словно бы изначально чувствовал свое какое-то предназначение. И всей своей последующей жизни должен был это предназначение оправдывать. И что уж точно - двигаться параллельно ниспосланного свыше движению. Ну, или как это мне виделось, что это так. А если предположить, что уже изначально в подобные мои расчеты-размышления закрадывалась ошибка... Ну, подобного я себе попросту не мог позволить. В ином случае и совсем необязательным было бы продолжение жизни. Ибо мое земное существование...

Вот тут, видимо, следовало быть внимательнее.

Ну а вообще, если разобраться, чувствовал я, что по большому счету попадаю в капкан, инсценированный жизнью. Ведь получалось, что я с одной стороны стремился к размышлению каких-то внутренних противоречий. А с другой... А с другой я понимал, что фактически с каждым таким разом еще больше запутываюсь. И чтобы мне выпутаться уже из этого безумия, времени потребуется намного больше того, что привело меня в эту яму. Парадокс.

Глава 3

Владимир Сергеевич Снегирев стремился ухватить прошлое.

Подспудно он понимал, что в какой-то мере именно в этом заключается его спасение. И спасение, и противостояние миру настоящему. Ведь, по сути, давно он уже мог признаться, что в настоящем мире бессознательно стремится воспроизвести прошлое. То прошлое, которое каким-то образом было самым

желанным. И при возвращении которого он с ложным правом мог бы признать, что никакого будущего и не надо. А самое что ни на есть настоящее при таком раскладе будет самым желанным, каким бы оно и вообще могло быть.

Нелегко было так жить. Понимая что когда-нибудь непременно придется начинать жить будущим, Владимир, тридцатисемилетний аспирант инженерного факультета Лесотехнической академии, стремился каким-то образом все же вернуть прошлое; чтобы уже, отталкиваясь от него - войти в настоящее.

Пока ему это не удавалось.

Как-то выходило так, что на каком-то этапе он уже вроде как и пребывал у цели. А потом все обрывалось. И ему приходилось возвращаться назад, фактически начиная сначала. Ну, или еще верней -- это самое настоящее отбрасывало его, совсем не считаясь с его какой-то волей, желанием, да и вообще - стремлениями.

Тяжело с такими мыслями.

Хотелось, непременно хотелось, во что бы то ни стало каким-то удивительным образом форсировать события. Чтобы оказаться там, где ему, по большому счету, очень (и всегда) хотелось быть.

Но вот насколько это было возможно...

.....

.....

С какой-то стороны в подходе восприятия Владимира Сергеевича через рефлексии его психики можно было заметить одну занимательную деталь. Он и сам, впрочем, часто обращал на

это свое внимание. Могло бы показаться удивительным, но даже к своим годам он до сих пор окончательно не выбрал модель, на которой ему, собственно, и следовало бы остановиться. То есть, по одному, Владимиру Сергеевичу хотелось бросить все, уехать куда-нибудь в малодоступное место, и заниматься там какими-то исследованиями, совсем не обращая внимание на какую-либо последующую доступность этих исследований людям. По другой, Снегирев-Зассульский (полная фамилия нашего героя) непременно должен был находиться в эпицентре событий. Являться участником светской жизни. И такое его раздвоение самым коварным образом удручало Владимира Сергеевича. Превращая в иных случаях его и вовсе в подобие некоего существа с затуманенным разумом. Существа запутавшегося в своем настоящем. С неопределенным будущим, и совсем уж загадочным прошлым.

Казалось, тут не было никакого спасения. Но и при этом, каждый раз словно бы оттягивало Снегирева-Зассульского решиться на окончательный выбор. То есть периодически тот может и угадывался. Но потом - куда-то неременнейшим (и почти всегда обязательным) образом удалялся. После чего, какое-то время Владимир Сергеевич пребывал в полнейшей прострации. Порой теряясь в совсем уж простейших вещах. И не зная как ему реагировать в тех или иных жизненных ситуациях. А разрешение этих самых жизненных ситуаций иной раз откладывалось на неопределенный срок. И становилось совсем непонятным -- как жить дальше.

Тем более что периодически возникала мысль: а может и не жить?

Жить или не жить - к подобным вопросам Снегирев-Зассульский относился очень даже загадочно. Можно было предположить, что в иные моменты ему уже было откровенно безразлично то, что происходило или произойдет с ним. И при этом очень трудно было скрывать, что в иные разы душа Владимира Сергеевича стремилась к настоящему празднику. Этот праздник угадывался во всем, что его окружало. Он словно бы казался, в иных случаях, и обязательным к осуществлению.

А случалось,-- все исчезало. И тогда Снегирев-Зассульский сидел, обхватив голову, и печально размышляя о собственном нелегком состоянии. Заставлявшем его заниматься совсем не тем, чем по настоящему хотелось.

И порою печаль доходила до своей максимальной стадии. После чего срабатывал какой-то защитный механизм в психике Владимира. И все становилось на свои места. Он был вновь весел и уверен в собственном будущем. Ничто не тревожило его. И хоть он знал, что так будет лишь какое-то время,-- он был в общем-то спокоен. Спокоен - пусть и временной - но какой-то уверенностью в завтрашнем дне. В осуществлении (пусть и мимолетном) каких-то своих желаний. В желании - действительного достижения будущего. И что уж точно - стремлении к нему. Без каких-либо отступлений и шагов назад.

И Владимир Сергеевич Снегирев-Зассульский был рад, что ему удавалось осуществить подобное. Был рад... Ну в общем, он был рад. А что ему еще оставалось? Печаль и так всегда сопутствовала ему. А так хоть какая-то отдушина...

Глава 4

Он был негодяем.

По сути, если анализировать жизненные поступки, а тем более мысли Снегирева-Зассульского, он был негодяем. Полнейшим. И единственный выход -- избавление общества от него. Что в свою очередь могло заключаться в изоляции Снегирева-Зассульского.

Но вот дело в том, что еще добрая четверть общества (как минимум) была со схожей симптоматикой души. И что касается общества, то в той стране, где жил Снегирев-Зассульский, оно было больно. И наверное даже без какой-либо возможности на исцеление. Разве что требовался тут достаточно длительный курс мер реабилитационного характера. Но чтобы их начать - уже сейчас необходимо было спасать людей. Людей, которые окружали Снегирева-Зассульского. И которые в большинстве своем - добрая их часть - были еще большими негодьями и нравственными уродами. И сам Владимир Сергеевич никогда не вписывался в общепринятые рамки. И на самом деле какой-либо его интерес к публичности был искусственным, и в какой-то мере вынужденным. Необходимым для выживания. А все, чего ему по настоящему хотелось - это побыть как можно больше времени в одиночестве. Чтобы никто не беспокоил его, и никого бы не беспокоил он. И это, наверное, и действительно было самое желанное у Владимира Сергеевича. Потому что никогда в полной мере он не стремился к какому-то общению. А если ему и было необходимо оно, то лишь только в тех случаях, когда он полностью контролировал ситуацию. Общаюсь с людьми, с которыми чувствовал какую-то внутреннюю близость; находил

душевные точки соприкосновения. Да и вообще -- ему было интересно.

Хотя, справедливости ради стоит заметить, что Владимир Сергеевич на самом деле разговорить мог практически любого человека.

Иногда ему даже приходилось участвовать в подобных экспериментах. И тогда он, выдавая себя за корреспондента какого-либо издания, брал интервью у различных людей. Не столько получая удовольствие от этого, сколько стремясь лучше прочувствовать ситуацию. И уже от осознания всего этого, достигал Снегирев-Зассульский каких-то своих, может даже и одному ему известных, целей. И в какой-то мере это было нормально.

Глава 5

Владимир недоумевал. Все у него вроде как и начиналось неплохо. Он уже научился бороться со своими депрессивными состояниями. Ему удалось избавиться от мучительного чувства вины. И вдруг все оказалось что не так. Что ему только казалось, что от всего этого удалось избавиться. А на самом деле состояния его не только возвратились; да и еще как будто усилились.

Более того. Владимир вдруг почувствовал, что ему совсем нет спасения. Что его преследует необратимое стремление к разрушению собственной личности. А если и удавалось что-либо сделать, так лишь только остановить процесс. Практически уже зная, что он начнется вновь.

--Видимо следует ликвидировать причину...--задумался
Владимир.

Он, конечно же, понимал, что должен что-то делать.

Понимал - что непременно обязан что-то делать.

Но совсем не знал - как.

Точнее, способов и методов было столько, что он
терялся, не зная каким же из них воспользоваться.

Наконец, путем мучительных раздумий ему все же
удалось прийти к какому-то относительно знаменателю.
Знаменателю лишь и действительно относительно. Потому как
это совсем не было еще тем способом, который мог привести его к
победе. Наверняка, --задумался Владимир, --могло являться
отправной точкой избавления от будущих страданий. Будущих,
потому как страдания и на самом деле на какой-то миг его
отпускали. Отпускали, чтобы потом начаться вновь. И в иных
случаях - даже с новой, ужасающей, силой.

Что было ему делать? Мог ли он надеяться, что когда-
нибудь избавится от обволакивающего его негатива, негатива в
собственном сознании, которое порой то служило ему верой и
правдой, то насмеялось над ним.

.....
.....

Какое-то время потребовалось нашему герою, чтобы
выработать какую-то более-менее общую позицию по поводу
своего отношения к действительности. Выходило так, что с одной
стороны он вполне мог воспринимать жизнь такой, как она была; а
с другой -- что-то заставляло его задуматься над происходящим.
Попытаться выработать, быть может, ключевые позиции

противостояния безумству, во власть которого периодически он скатывался. Хотя и до конца, конечно, не скатился.

У него было еще время противостоять злу разума.

Противостоять... Противостоять...

А было ли это время? Так ли уж в действительности сложно приходилось ему? Не было ли тут каких-либо подводных камней, которые при иных раскладах вполне заслуживали более пристального к себе отношения. Чтобы добиться даже чего-то такого, что позволило бы, в дальнейшем, и вовсе исключить нечто грустное и неопределенное.

Но внезапно Владимир понял причину происходящего с ним. Ну, или скорее уже не причину, а некое следствие.

А все дело в том, что Владимир угадывал в своей психике стремление к подчинению. Нечто такое, что словно бы вынуждало его, как будто уже и возносившегося на вершины подчинения собственного духа - падать вниз в объятия окутавшего его страха. Страх и неуверенности. Грусти и безответственности перед своим здоровьем. Ибо наносило это его унижение себя - непоправимый вред здоровью. И даже не столько, сколько здоровью, а скорее даже социальному положению Владимира. Ибо не позволяло оно подняться. А как только поднимался он - опускало его. Делая из уверенного в себе мужчины какого-то забитого подростка. И это несмотря на то, что возраст его уже приближался к сорока. И вполне можно было подытоживать события жизни.

Ну, так он и подытоживал. Себе в минус. И от этого иной раз становилось ему так грустно, что он терялся, не зная где же выход из создавшегося положения. Подозревая, что вполне может

так получиться, что выхода этого совсем и нет. А есть горе и несчастье. Да еще, наверное, страдание.

И не было избавления от этого страдания.

Но когда он уже и действительно считал так - все как будто изменялось чудодейственным образом. И Владимир понимал, что совсем еще ничего и не потеряно. А еще и вполне даже можно было добиться раннее поставленных целей.

И все было бы хорошо, если бы потом не начиналось все сначала. И судьба не продолжала играть с ним таким вот образом. Грустным и отчаянным.

И все это повторялось до бесконечности. А сам Владимир, вполне уже подозревал, что так быть может и должно быть. Ну а почему нет?

Глава 6

Владимир, в который уж раз, задумался над жизнью. Можно сказать, что ему достаточно часто приходилось таким вот образом задумываться. Хотелось во что бы то ни стало выработать какое-либо разрешение мучивших противоречий, во власти которых иной раз он пребывал. Стремясь... Стремясь конечно же выбраться. Но вот удавалось ли ему? Нет. Пока вполне можно было заметить, что не удавалось. Потому как... Да вероятно очень много было причин, по которым выходило так.

Но если разобраться (а к этому Владимир так или иначе все время стремился), иногда ему все-таки удавалось приблизиться к разрешению конфликта с собственным 'Я'. Вот только уже вроде как, начав торжествовать победу, Владимир самым безбожным образом порой забывал о способе, приведшем

его к победе. А потому фактически ему каждый раз приходилось начинать сначала.

Но он не разочаровывался. Может показаться удивительным, но ведь он и действительно не разочаровывался. А даже наоборот, после произошедшей ошибки стремился достигнуть былых результатов. Попытаться достигнуть. Что у него не всегда получалось. И уже кто-то мог предположить, что это и вовсе грозило превратиться в своеобразную игру. Но ведь так было не всегда. И у Владимира на самом деле была цель. Цель - исцеления, уничтожения собственных страданий. Что было, в общем-то, вполне возможно. Особенно если предположить удивительную настойчивость нашего героя. Стремившегося во что бы то ни стало подчинить себе разум, сознание, и все что находилось в реальности. Именно в реальности, а не в том призрачном нечто, во что он иной раз опускался. И страдал. Конечно же, страдал.

.....

Достаточно забавным казалось отношения Владимира к женщинам.

На каком-то этапе наблюдалось его полное отдаление от женщин, связанное... наверное прежде всего связанное с его робостью. Он как бы и хотел общения с ними, но видимо все же большей частью где-то в подсознании его общение это сводилось к стремлению к удовлетворению сексуального желания. А уже те, словно бы замечая такой интерес молодого человека - боялись этого.

Заметим, что позже Владимиру вполне удалось удовлетворить эту страсть. Причем - почти и исключительно в извращенных вариантах.

После чего вновь наступила пауза. Которая продолжалась достаточно длительное время. За которое он, уже было, подумал что 'все'. А потом началось такое беспутство, что уже было бы и лучше, если бы было 'все'.

Но потом все нормализовалось. К его нынешним годам, разумеется.

И все-таки, если говорить о сексуальной жизни нашего героя, то почти наверняка следовало бы заметить, что носило оно весьма выборочный характер. К тому же увлечение Владимира некоторыми науками (иной раз весьма забавными, и скорее даже псевдонауками, типа астрологии, уфологии, хиромантии, экстрасенсорики, парапсихологии, телепатии, черной магии, ясновидения, и прочими оккультными чудачествами) словно бы позволяло предположить о некоей сублимации в творчество. (Если все же допускать, что занятия подобными лжеучениями это какое-никакое творчество. По типу - чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало.)

Хотя и почти тут же следует заметить, что на самом деле у Владимира была немало увлечений. Но ни к чему путному пока это не привело. Но можно было предположить (с долей условности, разумеется), что в случае с ним пока шло накопление знаний. А условности - потому как, судя по возрасту - определенная часть таких знаний уже вполне должна была накопиться. Ну да видимо каждому свое.

Глава 7

Наконец-то Владимиру как будто удалось нащупать причину одолевших его страданий.

И уже стало удивительным, что показалось ему, что на самом деле таких-то уж страданий он и не испытывает. А было лишь нечто, что сейчас вполне казалось занимательным. А раньше словно бы и наоборот - весьма удручало его.

Как ни странно, разрешить подобное противоречие Владимиру помог его новый знакомый. Ну, или точнее - знакомый весьма старый. Но с которым достаточно длительное время он не общался. А тут вдруг словно бы случайно встретились. И поняли, что все это время были, оказывается, чуть ли не лучшими друзьями. В изгнании.

Дело обстояло так, что новый-старый приятель открыл Владимиру некие законы управления энергией. Означал этот закон, что вы могли достаточно успешно управлять своим будущим посредством совершаемых поступков через мысли. Мысли должны были желательно носить позитивный окрас. И все что вам представлялось - следовало не принимать сразу и всерьез, а сначала какое-то время прокрутить в своем сознании-подсознании (точнее - в сознании, дабы оно запечатлелось в подсознании), а после уже вы и сами не замечали, как использовали наработки, рождавшиеся в результате подобного удивительного симбиоза знаний, технологий, и самого настоящего вымысла. Именно как вымысел Владимир и окрестил идею, изложенную Яковом (так звали знакомого).

Но Яков не обиделся. От природы он был проходимец и шарлатан, вполне наживавшийся на доверчивости попавших к

нему на удочку граждан необъятной страны России (случалось, Яков гастролировал в поисках приключений). И если гнали его из одного места - появлялся в другом. 'Вы их в дверь - они в окно',-- вспомнил Владимир песенку Высоцкого. И тут же заметил, что Яков пристально смотрит на него, ожидая какой-то реакции на нечто сказанное.

'Знать бы еще что',--подумал Владимир. И постеснявшись переспросить - поспешил свернуть разговор, и убраться восвояси.

Сделать это было не так-то просто. Яков почувствовал подвох, и попросту повторил вопрос. Оказывается он предлагал Владимиру чуть ли не занятия совместным бизнесом. Правда, в чем должен был заключаться этот бизнес, Владимир не понял. Но переспрашивать не стал. Ему попросту это было неинтересно.

Знакомые подобные Якову с тех пор достаточно часто стали появляться в зоне видимости Владимира. Ну вполне можно предположить, что появлялись они и раньше. Просто он их не замечал. Не обращал внимания. А тут, уже получается, вдруг начал. Хотя и видимо все весьма относительно. Весьма.

--Как же я устал,--внезапно задумался Владимир. Душевная усталость действительно накопилась. Скорей всего так происходило от внутренней неустроенности. Стипендия аспиранта не приносила должного дохода, вынуждая Владимира искать подработку на стороне. И выходило как-то удивительно, что ничего подходящего найти ему не удавалось. Подходящего для души. Ведь не на всякую работу он мог и пойти.

И от того, что финансово не окупалось желание Владимира заниматься любимым делом, периодически на него накатывали совсем неподходящие сомнения. Которые ему хоть и удавалось до поры до времени разрешать, но вот все эти разрешения все больше походили на нечто не слишком хорошее. А то и на откровенную гадость. Вернее - гадостью и ничтожеством он мог бы считать себя сам, если бы не был... Ну в общем, пока он себя любил. Удавалось себя любить. Хотя и не удавалось вздохнуть полной грудью.

.....

Он верил, что в скором времени это закончится. Но практически из года в год повторялось одной и то же. Хотя и вполне можно заключить, что анализ действительности делал из него вполне неплохого специалиста. Но... предложения на рынке вакансий не было. И он вынужден был довольствоваться тем, что было. А значит - влачить... в принципе, влачить достаточно жалкое существование. Хотя и мало кто из тех, с кем он общался - знали что это так. А Владимир... Да только ли у Владимира была схожая проблема. Можно сказать, что большинство людей, в той или иной мере, мечтало бы найти для себя нечто лучшее.

Но ведь и интересно было не это. Намного любопытнее проследить причину, выяснить, почему так все произошло. Ведь по большому счету вполне можно предположить, что среди знакомых нашего героя находилось немало тех, кто был искренне рад ему помочь. Вопрос вот только был, что подспудно Владимир отказывался от этой помощи. Ему так хотелось быть в глазах друзей успешным и... Стоп. Закралась небольшая ошибка. А все дело в том, что на самом деле в глазах-то друзей Владимир мог

позволить себе быть искренним. А вот для знакомых, для тех кто знал его еще недостаточно - Владимир и стремился (большей частью подсознательно, наверное) выглядеть успешным. Таким, каким он должно быть и был в своих мыслях. Да и, быть может, так уже получалось, что мысли эти удивительным образом проецировались на его поступки. И именно это было причиной того, что Владимир не добивался тех результатов, к которым внутренне был уже давно готов. Но к достижению коих просто не мог себя заставить приложить усилие, направленное на слом себя, своей психики, изменении ее. Трудно ему было. А кому легко.

Часть 2

Глава 1

Владимир Сергеевич отдавал себе полный отчет, что он заигрался.

Это уже не входило ни в какие рамки. И грозило... Грозило тем, что у него вдруг исчезнет возможность возвращения обратно. И став сумасшедшим после имитации - таким и останется. И станет очень грустно от того, что он не сможет до конца проконтролировать ситуацию. И не заметит, как начавшаяся игра столкнет его в пропасть. Откуда может и не будет возвращения.

--Все. Хватит,--решительно произнес Владимир Сергеевич, вставая и делая несколько шагов по комнате. - Заигрался...

Он вспомнил, как все началось. Будучи аспирантом инженерного факультета, он решил, что ему почти ничего не стоит получить еще какое-нибудь образование. Программа давалась

достаточно легко. Да он впрочем и вообще никогда не испытывал каких-либо затруднений в учении. Иной раз и задумавшись над окончанием известной суворовской фразы, как бы она звучала, если учитывать что в случае с ним выходит все наоборот. Да так это и было. Наоборот. У него вся жизнь была такой. В один момент он мог загореться какой-то идеей. И достаточно быстро выполнить задачу. А потом скучать, не решаясь какое-то время придумать себе что-то еще.

Решив получить новое образование, Владимир выбрал факультет психологии. И достаточно быстро его закончил. А после окончания, или может даже еще учась в вузе, Владимир попробовал написать некое произведение о себе (по крайней мере, главный герой назывался его именем, отчеством и фамилией), где в жанре своеобразной полуфантастической мистики - начал описывать состояние своей психики, как если бы это была не совсем его психика, ну или же его - но пораженная жестоким недугом психопатологии. Начала какой-либо психопатологии.

И ведь поначалу даже не придавал этому роли, воспринимая все происходящее как своеобразную игру. Или, скажем, практикум -- в письменной форме.

Владимир не заметил, как стал сливаться со своим героем. Явление можно заметить весьма распространенное. Своеобразная проекция, где действующими лицами выступает один и тот же человек, но в двух персонах: вымышленной и настоящей. Что если и может быть увлекательно, то лишь на каком-нибудь начальном этапе. А потом все. Ловушка может захлопнуться. Причем - в любой момент. Что весьма печально.

Владимир все понял достаточно быстро. Но будучи уверенным в своих возможностях, продолжал играть. Искренне веря, что сможет выскочить из поезда несущегося в пропасть в любую минуту.

А потом, случайно проверив двери, попросту понял, что те заблокированы. И...

Ему не хотелось знать, что это за 'и'.

Ему не хотелось верить, что уже действительно 'все'.

Да он, должно быть, и не признал бы это. Он даже боялся повторить подобное предположение в своих мыслях. Боялся материализовать мысли. А потому, решив словно бы об этом и не думать (или думать о чем-то другом, но только не об этом),-- надеялся уже на каком-то параллельном плане интуитивно нащупать правильное решение (словно увидев его боковым зрением). А потом нанести решающий удар. И победить. Расправившись с начинавшимся в нем безумием. И снова зажить обычной жизнью. Вполне обычной жизнью аспиранта лесотехнической академии, готовящегося защитить диссертацию по своей инженерной специальности.

Глава 2

Два мощных начала по-прежнему разрывали Владимира на части.

С одной стороны, ему хотелось быть наедине с собой, копаться в собственной душе, и вести, по сути, замкнутый образ жизни.

С другой, -- он бы вполне мог стать и каким-то общественным деятелем. По крайней мере, ему хотелось самых активных и решительных действий. Хотелось куда-то бежать, с кем-то спорить, что-то кому-то доказывать, и убеждать в собственной правоте.

И при этом в какие-то моменты ему претило и первое и второе.

И уже ничего не хотелось. Кроме как... А вот тут следовало быть осторожным. По крайней мере, пока. До времени. Веря, что это время непременно наступит. Ну а почему нет?

.....

.....

Снегирев-Зассульский почувствовал, что все с ним происходящее совсем даже и не игра. Ну, то есть, она могла бы стать игрой. Но какие для этого должны были наступить условия - Владимир не знал. А уже словно бы наоборот, с полным правом начал отдаваться новому чувству. Выражающемуся, быть может, и совсем в черт знает чем. Хотя вполне может быть -- и в чем-то вполне адекватном для восприятия психики.

А еще ему начало казаться, что то, что происходило с ним, было и на самом деле. И если начиная произведение Владимиру казалось что фигурировал там вроде как и вымышленный герой (просто под его фамилией), то сейчас он уже мог предположить, что это и на самом деле был он.

Ну, или в какой-то момент все самым удивительным образом смешалось. Удивительным - и независимым ни от чего. А он, он Владимир Снегирев - стал и на самом деле Снегиревым-Зассульским. Добавив словно бы уже и в жизни к своей фамилии

приставку вымышленного героя. Хотя уже и действительно по поводу вымысла все было весьма относительно. Потому как уже и действительно начинал склоняться Владимир, что все было на самом деле. Да может так и было. А он все выдумал, ну или не выдумал, а на каком-то этапе вымысел подменил какую-либо реальность. И получилась...

Что получилось - Владимир уже понял. Получилось на самом деле черте что.

.....
.....

Удивительно, но уже через какое-то время он так не считал. Вернее - у него появились первые сомнения, что это так. Да и стало казаться ему, что словно бы намеренно кто-то запутывал его жизнь. Вынуждая иной раз совершать поступки, о возможности которых ранее он не представлял. И по совершении их - почему-то считал, что так все и должно быть. Что желание совершить нечто подобное к нему пришло самостоятельно. А анализировать нечто подобное как будто и не имеет смысла. Пока не имеет. А потом...

Что будет, что должно быть потом, Владимир не знал. Ему хотелось что-то понять. Он понимал, что понять это был обязан. Но и уже почти тут же ему приходили мысли, так ли это уже обязательно надо было делать? Действительно ли стоит задаваться столькими (и такими) вопросами, или на самом деле все, что ему необходимо было делать - писать, писать, и писать. Писать и не думать ни о чем. Бессознательно надеясь, что разгадка появится сама и словно бы независимо от его каких-то ожиданий.

Все вполне возможно.

Глава 3

Иногда Владимира удивительным образом захлестывало его воображение. И даже не то, что он подменял истинный мир ложным. Скорее нет, чем да. Просто, видимо, можно было говорить о том, что он хотел, бессознательно пытался изменить этот мир. Повернуть его в лучшую сторону. И иногда это получалось.

Здесь бы можно кое что сказать о материализации мысли. Ну, так ведь и сам Владимир пока в свои годы не до конца разобрался в этом вопросе. Иногда ему казалось, что он вполне на правильном пути. А иногда все вроде как и происходило грамотно, да результат оказывался столь ничтожен (и обратен ожидаемому), что получалось нечто совсем нереальное. И в иных случаях - даже печальное. Хотя так было и не всегда.

И уже вполне можно сказать, что со временем Владимиру Снегиреву-Зассульскому удалось выработать некую концепцию, согласно которой он нашел противостояние жизненным невзгодам. Обретая какое-никакое (пока, к сожалению, относительное) жизненное здоровье. Выражающееся...

А вот тут вышла некая заминка. С одной стороны все вроде как должно было складываться вполне хорошо, и даже более менее адекватно. Его повседневная жизнь стала разделяться на два плана. В одном - была хоть и несколько относительная но реальность. В другом - существовал некий (и судя по всему достаточно небольшой) вымысел.

Но вот в том то и дело, что со временем Володя просто запутался. Это было неприятно, но это было так. У него как-то

выбилося из головы, какой он должен быть настоящим. Все время перед глазами (стало так в последнее время) стали возникать какие-то псевдообразы. Которые вроде как и вели его к чему-то. Указывая, наверняка указывая какой-то путь. Но вот что это был за путь, и куда он на самом деле вел - разобраться было не только трудно, но и вполне может быть - даже и невозможно.

И это порой невероятно удручало нашего героя. Он вроде как и понимал, что находится рядом с какой-то удачей. Она поблизости. Но вот в чем эта удача могла заключаться, понять, по всей видимости, было и вовсе невозможно. Ну, или пока - не представлялось возможности. А значит, уже была надежда. Ну, или не было. Он, по всей видимости, просто запутался.

А потом все закончилось. Так неожиданно, что он даже не успел ни о чем подумать. Владимира сбил грузовик, выскочивший на красный свет. И все действительно закончилось. Оборвавшись на полпути. Такое бывает...

8 июня 2007 год.

повесть

Покаяние, или исповедь негодяя

«...Там ад, там мрак, там пышущая бездна
душливая вонь, зараза и позор».

Шекспир. Король лир

Пролог.

Мысли еще, казалось, продолжали свое хаотично-беспорядочное движение, но по телу уже начала пробегать смертельная истома, за которой и наступает собственно смерть.

Человек устало обвел глазами комнату, попробовал, было, вытянуть руку с окровавленным запястьем, из которого струилась кровь ('не испачкать бы диван', --подумал некстати; другая рука уже покоилась в предусмотрительно принесенной миске с водой - так кровь не свернется),-- не получилось... тогда его лицо скривилось в усмешке: 'и сейчас он думает совсем не о том'.

...Всю жизнь Иван Андреевич Нижинский прожил как бы не за себя; причем периодически рождаемые образы (его соответствия себе) сменялись с частотой неконтролируемой. Только поначалу Иван Андреевич еще мог что-то выбирать. А на каком-то этапе своего существования у Нижинского (как вроде бы и не задумывающегося об этом) исчезла способность решать, думать, рассуждать... У него и правда пропала способность о чем-то более-менее здраво рассуждать...

И уже стало казаться, что что-то проходит совсем, как будто, без его ведома.

Но изменить ничего Иван Андреевич не мог. Даже при всем желании.

А вскоре уже и желания такого не возникало.

И тогда он просто смирился с действительностью.

.....

Лежащий на диване человек попробовал, было, потянуться к журнальному столику...

Ничего не получилось...

А ведь тот стоял совсем рядом!?..

Иван Андреевич впервые (невероятно ясно и четко) понял, что это конец...

И даже не начало конца, а самый настоящий...

'Сейчас, видимо, и закончится...', -- с невероятной и не испытываемой доселе тяжестью слова сложились в какое-то подобие выстроенной строки, --... все закончится.,-- обессиленные губы с трудом прошептали, даже не пытаясь издать хоть какое-то подобие звуков...

Все действительно заканчивалось.

Вдруг, словно вспомнив о чем-то, поддавшись тяжести закрывавшихся век - человек дернулся в рывке... Так как раньше, конечно же, не получилось... Но краем глаза,-- перед тем, как они закрылись уже действительно навсегда,-- человек успел выхватить самую важную в конце жизни картинку: раскрытая тетрадь лежала на журнальном столике...

И это было главное. Для него - это было главное.

Окровавленная ручка (писал, пока еще мог писать) лежала рядом...

Успокоившись, человек закрыл глаза и медленно стал проваливаться в пустоту...

...Через несколько секунд все закончилось.

Иван Андреевич Нижинский умер.

Внизу, на полу, валялись несколько перепачканных кровью лезвий...

--...Добровольный уход из жизни,--констатировал смерть вызванный мной участковый (это я первый заметил труп своего соседа по коммунальной квартире, по какому-то поводу

зашедши к нему); меня оттеснила бригада врачей и приехавших людей в погонах (периодически то прибывающих, то убывающих).

--Не ходите далеко, побудьте пока в своей комнате. Мне необходимо с вами еще побеседовать,--видимо почувствовав мое желание по быстрее отсюда убраться,-- попросил участковый, на миг оторвавшись от изучаемого им тела моего соседа.

--Да, да, конечно,-- обескуражено прошептал я, на ходу кивая головой и направляясь в свою комнату.--Я всегда готов,-- произнес я (уже про себя), закрывая за собой дверь.

И только тут я вспомнил про тетрадь. Я ее сразу увидел, как только вошел в комнату к Нижинскому. Не знаю почему, но, пробежав глазами первые строчки, я аккуратно засунул тетрадь себе за пазуху. Она и сейчас лежала там. На миг подумав ('будут ли у меня делать обыск?') я уже готов был улыбнуться от нелепости своего предположения, как в дверь постучали.

--Это лейтенант Карпович,--услышал я голос участкового.

--Да, да, входите,-- произнес я всего через секунду, но именно этой секунды мне хватило, чтобы положить тетрадь в середину стопки лежащих на моем рабочем столе других 96-листных тетрадей (конспекты лекций, наброски научных работ, эссе...). -- Весь в вашем распоряжении,-- повернулся я к входящему лейтенанту. Тетрадь покоилась в надежном месте. Теперь я готов был выслушать все, что хочет от меня этот человек в погонах.

Глава 1

Участковый ушел. Нижинского унесли. Комнату опечатали. Был самый разгар петербургского лета, а потому наши (с Нижинским) соседи по коммунальной квартире (молодая семья: он, она и ребенок) по всей видимости, нежились на черноморском курорте.

Хотя я вполне могу и ошибаться.

Нет, отношения в нашей коммунальной квартире были вполне приемлемые: каждый занимался своим делом. И оттого я и не вдавался в подробности, куда и насколько уехали мои соседи. Уехали - и уехали. Главное что уехали. А куда?!..

Хотя, признаться, иногда я с трудом избавлялся от обычного любопытства. Но я старался соответствовать выбранному образу философа, якобы чуть ли не постоянно погруженного в свои мысли. Мысли о каком-нибудь... величии, например. Или решения каких-нибудь глобальных проблем, например. В общем, мало ли какой бред мог лезть в мою юную голову. Было мне двадцать пять. Работал я сейчас над одним философским произведением. Которое по моим подсчетам могла... ну не знаю... изменить мир? Может и изменить мир. Хотя мог ли он на самом деле измениться? Да и не обо мне речь. Ведь чуть ли не на моих глазах произошла человеческая трагедия. Умер человек. Пусть убил он себя сам. Но... И видимо уже как раз это 'но' и не давало мне покоя...

Иван Андреевич Нижинский, доцент кафедры географии одного из городских вузов вел, если можно так выразиться, затворническую жизнь. Ну или почти затворническую. В общем, на улицу он выходил весьма редко. И только в случаях крайней

необходимости. (Этой 'необходимостью' как я понимал были лекции в институте).

После работы он спешил домой. Запирался в комнате (щелчок замка и сейчас всплыл в моей памяти), и видимо что-то писал. А может, думал. Ну уже, по крайней мере, в его комнате всегда была тишина.

Почти год назад Нижинский похоронил, сначала мать, потом жену, и всего как несколько месяцев - ребенка. Вернее, ребенка дочери вместе с ней же и зятем. (Отец его, по-моему, скончался от инфаркта за несколько лет до череды повторившихся смертей).

Почти сплошные, идущие друг за другом смерти самых близких людей (его брат разбился в автокатастрофе незадолго до смерти отца), по всей видимости (по крайней мере, именно такая версия была у 'искренне' поделившейся ей со мной участкового) и надломило психику Ивана Андреевича.

Да, признаться, именно так бы, по всей видимости, думал и я. Если бы...

Если бы не начал читать оставленный им дневник. Вернее, это был и не совсем даже дневник (в привычном понимании этого слова), а скорее... исповедь. Исповедь человека, который оказывался не в силах больше нести в себе груз ответственности за смерть близких людей. Исповедь человека... Исповедь негодяя, просившего о покаянии... Но уже после своей смерти... Его сознание просто не в силах было больше сопротивляться тому что скрывалось в его подсознании. Тому, что почти уже всецело захватило бразды правления личностью этого человека, с изможденными, даже какими-то чрезмерно

опущенными чертами лица. И усталым, поникшим взглядом... Взглядом человека, которому больше ничего в этой жизни было не нужно. Потому что он не в силах был справиться с тем, что у него уже было.

Какая-то сила разъедала его изнутри. Он и раньше-то был худой, а теперь и вовсе превратился, чуть ли не в дистрофика. При росте чуть больше метра восьмидесяти, вес его едва ли дотягивал до сорока пяти килограммов.

Но совсем не это его занимало (обращал ли он вообще на свой вес какое-то внимание?)... Страшную боль, и, прежде всего, осознание причины этой боли, нес в себе Иван Андреевич. И именно она разъедала его изнутри. Так что, в итоге, он решился на самоубийство ('суицид', -- как констатировал участковый еще до приезда врачей)...

Да и, наверное, в его случае это был действительно выход. По крайней мере, я предпринял, чуть ли не десяток попыток, пока смог прочитать то, что он написал. И уже читая, стал испытывать чувство, что медленно седею. Столь ужасно и... до боли непонятно, нелепо, абсурдно, и... неправдоподобно было прочитанное мной.

И уже оттого видимо я попросту боялся пропустить эту информацию дальше, вглубь себя, в свое подсознание; потому как невероятно легко было от всего этого сойти с ума.

А может я и на самом деле стал сумасшедшим? Потому что мое сознание напрочь отказывалось понимать весь смысл показанной Нижинским действительности. А подсознание?!.. А подсознание, наверное, на то и жутко в своей нелепости (и допустимости необъяснимого сознанием), чтобы достаточно (или

наигранно) 'нейтрально' отнестись к жутким словам, объединенным в еще более жуткие словосочетания, превращаемые в отвратительные (по своей смысловой окраске) предложения...

Но я это все прочитал... И теперь сам готов был застрелиться.

Или повеситься.

Или так же как Нижинский, вскрыть вены.

Ибо не мог я после этого жить. Не мог. Да уже и не хотел...

Глава 2

Тетрадь оставленная Нижинским, представляла собой обычный 96-листовый формат. Страницы (клетка) были почти все исписаны его убористым почерком. Сейчас мне подумалось, что, вероятно, нет смысла ни пересказывать написанное им, ни (тем более) приводить какие-то отдельные цитаты. Этот труд вполне заслуживает того, чтобы быть представленным полностью (хотя, признаюсь, и с некоторыми моими купюрами. Вернее, я попросту кое-что вычеркнул из дневника. Выжег (каленным железом). То, что попросту не имело права на существование. Право на то, чтобы об этом вообще кто-то еще узнал. Иногда уместно что-то и не знать...).

И еще... Моя первая мысль (еще когда суматошным движением закинул тетрадь за пазуху) как-нибудь ее подложить на место смерти Нижинского,--вскоре была полностью отвергнута. Нет, конечно, моя совесть порывалась меня 'образумить'; но я вполне рассудил, что незачем тревожить чью-то память. (Хотя это 'решение' все же далось мне нелегко).

Так что, пусть все останется так, как есть. А Нижинский?.. Да ведь, своюю 'исповедью' он хотел облегчить душу. (Получилось ли у него?). А то, что об этом никто не узнает?..

Собственно говоря, уже сама эта публикация будет как бы невольным успокоением моей совести (да, по большому счету, и его). И пусть мной сознательно изменены исходные данные, -- ведь нет у меня никакого соседа по коммунальной квартире (придется ли мне когда-нибудь жить в коммуналке?); да и фамилия (и место работы) того, кто на самом деле написал эту тетрадь были иные. И не то что мной изменены. Вернее, получается, мной изменены. Но... Не это ведь главное. Как и то, - какими путями попала эта тетрадь ко мне.

Важно, что все изложенное в этой тетради правда. Как правда и то, что человек, написавший ее - погиб. Умер. Убил себя сам. Самоубийство...

А возраст его совпадал. С Нижинским. Но... причем здесь возраст?..

Не знаю, на мой (нисколько не субъективный) взгляд, предложенный вам текст не нуждается в каких-то (моих) комментариях. Быть может послесловии... Но вот могу ли я быть уверен, что смогу еще раз пропустить через себя написанное?!.. Если нет, -- не обижайтесь. Если да, -- не судите строго. Ведь кое-какие ремарки да выводы - сами подают мне знаки. Удержусь ли, чтобы не обращать на них внимания?..

Глава 3

«Покаяние».

'Первый раз я ударил мать, когда мне только исполнилось двадцать пять. К тому времени я еще не был женат (с будущей женой,--которая и стала моей первой и единственной женщиной,--познакомился только через год), жил в одной квартире с матерью и отцом в том городе, где живу до сих пор. Тогда, казалось, я не вкусил сполна те ужасы, которые театром абсурда теперь почти ежесекундно проносятся у меня в голове, завлекая уставшие от борьбы мысли в таинственный 'круговорот беспредела'.

Да я и не думал тогда - как будет потом. И быть может даже просто жил,-- хотя и перед последним словом (глаголом) поставленное деепричастие кажется нелепым в своем обмане. Ибо все было, конечно же, даже несколько не просто. Да и так совсем уже быть не могло. Ибо страдал я от невероятных страхов внутри себя, которые вырастали из постоянных (и непрекращающихся) тревожных состояний, превращаясь в периодически усиливавшиеся (и самые настоящие) кошмары разума, который все больше отказывал мне, иной раз, выдавая совсем черт, знает что.

...Я ударил мать... Быть может и легко, ладонью, чуть замедлив удар в последней стадии движения (как будто уносившееся вдаль сознание на миг задумалось в своем удивлении),-- но и этого оказалось достаточно. Не ожидавшая этого моего движения (боюсь еще раз называть его словом, означающим это 'движение'), мать слегка покачнулась, и видимо, то ли не рассчитав равновесия, то ли пораженная нелепостью происходившего (а может сбита с толку моим равнодушным взглядом),-- упала подле меня. Через минуту (я продолжал стоять

без движения: ни осознание случившегося не пришло, ни нужная - мысленная - подсказка последующих действий не приходила) она забилась в приступе (тогда отчего-то подумал: 'инсценированной') истерики. С плачем, всхлипываниями, и быть может остальным, сопутствующим и характерным истерике 'продолжением', но только я уже нисколько не мог сдерживать себя, принявшись избивать свою мать ногами. Несмотря на то что (а, быть может, как раз и потому что) удары наносились беспорядочно, мать скоро затихла.

Быть может, только это меня и остановило.

Но вот что удивительно: всего лишь после первых ударов прошло (тогда еще сидевшее во мне) какое-то чувство нерешительности; и я уже с каждым наносимым мной ударом, как бы освобождался от чего-то доброго и искреннего (что наверняка, когда-то стремилась 'заложить' во мне мать), и уже только садистское желание разливалось по венам, подгоняя - 'еще - еще...'.

Пройдя на кухню, я налил, было, стакан воды ('взгляд на кувшин'), потом на ходу пути обратно отказавшись и от первого и от второго (хотел вылить ей на голову,-- остудить,-- да вспомнил о соседях снизу), я кое-как подхватил мать ('дышала, но видимо не хотела показывать мне этого') под мышки, и дотащив ее до санузла, погрузил в ванну, включил холодную воду, переставил 'на душ', и повесив тот сверху, добился чтобы разбиваемая (на десятки составляемых) основанием шланга струя (ставшей ледяной) воды - падала на лежащую в ванной мать аккуратно сверху.

И вышел вон.

В тот день я впервые напился.

Но вот что было особенно удивительно: за всей жуткостью ситуации,--я, казалось, совсем не осознавал (в той степени, как это должно было быть) ни своей вины, ни... В общем, всего того, что запрещало бы и дальше поступать так со своей матерью... А ведь должно же было быть (ну где-то - хотя бы - в глубине подсознания)... не знаю... раскаивание, что ли... (ибо до покаяния еще было совсем далеко. Иначе может, закончилось бы все этим нелепым - и позорным, как я бы считал тогда - примером. Попросил бы прощения. Встал на колени...

Нет... Ничего даже похожего не было. Даже наоборот. Сделанное,-- как бы давало индульгенцию, право,-- на совершение подобного и в дальнейшем.

У меня словно развязались руки. Однако, видимо, все было бы слишком просто (до тривиальности просто: встречается же такое,-- хоть и редко,-- в семьях, когда опьяневший - от водки, или безнаказанности?! - сын избивает престарелую мать, забирая, например, ее пенсию, чтобы себе похмелиться?!..), если бы это был не я, а кто-то иной.

Даже можно было сказать, что весь мой интеллект не дал бы спуститься до обычной (и ничем не мотивированной жестокости)... Я же не только (постоянно, словно опасаясь 'повториться') выискивал 'причины' (как бы оправдывающие мои действия), но и по закрученности ходов (и изощренности жестокости) был, вероятно, сравним с самым нечеловечным злодеем; ибо предавал (своими поступками) материнскую (и сыновнюю) доброту; так что мать бы не за что не могла бы подумать (ее мозг, и, в первую очередь, оказывающая влияние на подсознание материнская любовь, любовь к вскормленному

грудным молоком чаду) ни за что не позволяла подумать, что с моей стороны это была преднамеренная жестокость.

Не знаю, чем на самом деле мать 'оправдывала' мое зверство по отношению к ней, но только я наверняка уверен, что в них, в этих ее умозаключениях никак даже не было и намека на истинную правду. Она бы никогда в этом не смогла себе признаться. И оттого (я - понимая это) был еще более дерзок и жесток в своей безнаказанности.

Тем более, что и от самих избиений я, на каком-то этапе почти (почти!) отказался. Теперь я более тщательнее продумывал свои следующие ходы.

Например, я невероятно любил застать мать в состоянии какой-либо подавленности, и тогда уж 'отрывался' на всю мощь своей фантазии.

Вскоре, вырывающиеся из моих уст слова (рожденные жуткой фантазией воспаленного воображения) доводили мать, сначала до тихих всхлипываний (хотя со временем я научился 'миновать' эту 'стадию'); потом рыданий (любой характерно выраженный плачь, служил не иначе как избавлением от накопившихся эмоций; поэтому я старался не допускать этого. Мне нужны были страдания. Вечные страдания. Чтобы человек жил с ними все 24 часа в сутки и не мог бы избавиться. Ибо если он все-таки избавлялся - значит в чем-то допущена ошибка. И я тогда начинал сначала); и тогда уже как высшей мерой подобной 'работы',-- считалось, когда мать только тихо (вполголоса) и протяжно 'скулила'; и вслед за первым протяжным звуком, мысль (о безутешности горя) давала новую порцию продолжения; и в

итоге это могло продолжаться долго, очень долго, пока мать, обессиленная (и внутренне опустошенная) не замолкала.

Лишь периодически всхлипывая, и сотрясаясь в порыве взрыва от осознания собственной ничтожности, и дальше в большей мере, -- невозможности понимания: 'за что?..'. (Хотя, признаться, подобный вопрос ей все же иногда - чаще всего поначалу - еще был озвучен. На что я испытывал невероятно-необъяснимое дополнительное удовольствие, ибо тут же крадучись приближался к ней, со скорченной гримасой в ухмылке начинал скалиться, и выискивая самые обидные слова, и всячески лавируя перед ней - дразнил ее, добиваясь нового приступа боли, обиды, отчаяния...).

И мне это нравилось. Я даже на каком-то этапе (подобных своих 'тренировок') научился маневрировать силой оказываемого воздействия, добиваясь почти запрограммированных эмоций. И тогда, можно сказать, я торжествовал настоящую победу.

И ведь не было - если разобраться - в этих моих действиях чего-то изначально предрассудительного (тогда я считал именно так). И наверное потому - стало это все началом той безнаказанности, поощряемой не только не доказуемостью (или какого-то осуждения), а именно здесь в первую очередь следовало иметь в виду свои собственные ощущения (в подсознании), и уже оно, жестоко в своей кажущейся (а теперь обманчивой) правоте, направляло мои поступки на придание им еще большей жестокости, выражаемой в первую очередь, -- во всяческом унижении близкого мне человека.

Да и одна ли в такой ситуации оказывалась мать? Почти подобное же (хотя я и не допускал повторений) вскоре в полной

красе испытали и мои другие домочадцы. Причем некоторые из них (как брата), в какой-то момент начинающих понимать какое зло скрывается под личиной их ближайшего родственника, я попросту подставил, приведя к их неожиданной (для всех, но не для меня) гибели.

Сейчас даже не помню (все тяжелее мне в последнее время управлять и памятью, и на время исчезающим из сознания контролем, когда наступает власть почти исключительно бессознательно), что я такое вычитал в специально проштудированном учебнике по автомобилестроению (как и в ряде специальных журналов, к которым, помимо технических, мною были причислены и криминальные), но я осуществил это с точностью наоборот (с машиной брата); и уже через самое ближайшее время узнал, что на большой скорости (и, как оказалось, с полностью бездействующими тормозами) мой брат пролетел перекресток, врезавшись в начавший движение бензовоз.

--...Сынок, что происходит, сынок?!- упавшим голосом от свалившегося на него известия о трагедии позвонил отец, и я, с участвовавшим от волнения дыханием попросил его никуда не уходить (звонил он из дома, с квартиры, мать еще была на работе) - приехал к нему уже через четверть часа (благо, что находился в тот момент неподалеку), и как раз вот тут я настолько ярко выражено показал свою радость (да еще и как бы дополнительно: в словах, сопровождаемыми жестами), что почти тут же (и, получилось, с легкостью) вызвал у отца инфаркт; от которого он и скончался (врачам я позвонил не сразу, точно рассчитав время прихода матери) в машине 'скорой помощи'.

Да и пришедшая с работы мать (и заставшая отъезжавшую от нашего подъезда скорую) почти тут же потеряла сознания, когда я (дождавшись пока она поднимется в квартиру) с порога выпалил ей и про смерть ее сына (моего брата) и про инфаркт мужа, постаравшись при этом показать свою особенную радость происходящим.

Однако, в мои планы совсем не входило, чтобы она отправлялась вслед за отцом (комбинация была бы превосходная. Но мне хотелось все же еще ее помучить. Хотя, по сути, у меня еще оставались для подобных экспериментов моя жена, дочь, и ее ребенок).

И вот уже в начавшейся какофонии мне бы и впервые задуматься, что происходит?! Но, верно, я уже не был способен на это.

Что больше выиграло во мне? Что так будило эти подсознательные, шедшие глубоко изнутри желания к разрушительной агрессии, рождая ужас наступления исключительно несчастий и неприятностей (для других, но опять же, не для себя)?.. Но, несомненно, было одно...

Я уже не мог остановиться...

--Сынок...--услышал, было, я слова матери в телефонной трубке (звонила из больницы, куда ее все таки отвезли внезапно приехавшие - вызванные мной? - врачи),--...сынок...--мать тихо и в бессилии плакала в трубку. Невероятным образом в ее материнском сердце и нежной душе, вероятно, боролись два противоречия. По одному из них, она по видимому начинала понимать, что виновник всех бед не иначе как я... Но все же что-то (и для меня было понятно что) не давало ей смириться, поверить в

это..-- сынок... мне уже лучше... я уже поправилась..-- с трудом старалась казаться мать сильной (такой, какой она всегда была... или хотела быть...),--...ты приедь... забери меня домой..-- попросила она.

Было заметно, что ей сейчас невероятно тяжело говорить...

По всей видимости (и кому как не мне это понимать), она не могла преодолеть эти начинавшие раздирать ее противоречия. Но ведь я вполне догадывался: что ей было сейчас нужно... Что она хотела бы, чтобы ей было приятно сейчас услышать от меня... И я произнес это. Причем, мне даже не пришлось специально что-то подбирать (разве что интонацию). Нежные, нужные, ласковые, добрые (то, что ей больше всего сейчас и необходимы) слова сами рождались в моей голове, словно и сами же рифмовались в желаемые словосочетания; и, далее, в такие милые ее сердцу предложения...

--Я конечно же заберу тебя...-- говорил я, и у меня это как-то выходило само собой; так что я ни в коем случае не делал никакого дополнительного усилия; а словно (и со стороны так и должно было казаться) я действительно разом и как-то в одночасье изменился... Стал вдруг таким же нежным и ласковым, каким вероятно был в детстве... По крайней мере таким, каким я чувствовал это,-- меня помнила и мать...-- мама, мама,-- почти уже полукричал я (вероятно как бы 'сам собой' мой голос звучал с такой нужной ей интонацией), -- мамочка,-- почти срывался я, переходя на ту душещипательную интонацию, от которой вряд ли могла устоять хоть одна мать,--... я, конечно же... я немедленно заберу тебя..-- и я уже усилием воли оставлял трубку, что-то

набрасывал на себя из одежды, и спускался вниз, бежал к дороге, а потом, все также рефлекторно (и совсем не помня о том, если бы пришлось в последствии разложить это на составляющие) ловил такси, и вот уже совсем скоро - мы были дома...

Я совсем даже не помню, что ей тогда говорил; но почти верно одно - это были именно те слова, которые ей тогда и хотелось слышать... И как будто затихала она у меня на груди... Как будто бы успокаивалась она... Но через время уже начинался новый день... и я совсем не мог ничего с собой поделаться...

Все входило вновь на круги свои... Вернее - своей (или уже моей) незапрограммированной (на это я надеялся) жестокости... Жестокости, как будто исходившей из меня, без какого-то особого участия (да и контроля) с моей стороны... Но даже если бы я и постарался, захотел хоть как-то сдерживаться...-- я вероятно, совсем бы даже и не смог бы... Ибо чувствовал я где-то в глубине себя, то нараставшее с самого утра (с момента, стоило мне лишь проснуться) напряжение... и через время (все еще пытаясь это скрывать) я уже чувствовал не иначе как только исключительно тревожность... тревожность, которая была не иначе как синонимической схожестью беспокойства; и все это каким-то незадачливо-незамысловатым образом переходило в желание, в маниакальное, по своей настойчивости, желание к тому, чтоб сделать что-то неприятно обидное для других (но опять же, такое благодатное, необходимое, почти что полезное,-- во всей злой необходимости этого совсем не нужного этого слова); но уже как бы то ни было,-- стоило мне действительно (на самом деле) совершить его,-- как я почти что тут же успокаивался... Да, да,-- (вот уж поистине загадка,-- а скорее и объяснение всей этой

мотивационной необходимости, всего того страха осознанно-непредсказуемых действий),-- я как будто и действительно успокаивался... Но ведь и вопрос-то заключался в том, что это оказывалось лишь только на время... А когда проходило оно,-- то начиналось все с новой (и ужасающей по своим последствиям) силой; и тогда уже действительно (на каком-то этапе мне необходимо было смириться, заключить, констатировать факт всех этих непредсказуемо-случающихся последствий происходящего), да, да, я действительно, совсем не мог ничего с собой поделаться... я... проходило всего небольшое (совсем незначительное, касательно даже сотой части срока нашего земного пребывания) время, и с моей стороны повторялось все, как прежде... И я опять доводил свою мать... Которая после смерти мужа и сына,-- совсем была уже не та, что раньше.

И быть может она инстинктивно искала спасение (уверяя себя, что должна жить ради этого) в своем оставшемся сыне (то есть во мне), в своей внучке и правнучке... (Ибо я совсем даже не заметил, как прошел какой-то большой период жизни; и я как-то незаметно для себя женился, и все проходило для меня в каком-то тумане, и я словно на время выныривая из него, отмечал как проходящие - и без меня случившиеся - события,-- и рождение дочери, и уже дочери у нее)...

И вот уже в этой нелепости проходящего бытия я почти и не заметил, что все исходившее от меня зло как бы случилось само собой. И только по настоящему я мог опомниться (чуть ли не только сейчас), когда (самым невероятным образом для меня) очнулся и увидел, что уже совсем даже никого не осталось; и все мои близкие, так или иначе, погибли...

И погибли нисколько (и конечно же) не своей (предсказуемой в итоге отмеренного срока окончания земного бытия) смертью. Но уже как бы то ни было, мне пришло невероятное (и по сути - случайное, в своей неожиданности) прозрение, что это именно я был виновник всех бед. Но вот в том то и дело, что быть может и слишком поздно наступило это раскаяние... Да и наступило ли оно?!..

Ведь что, пожалуй, и любопытно... Я до сих пор (как бы уже и осознавая в чем,-- или, вернее,-- в ком заключена причина всех бед) пытаюсь найти какие-то (незначительные в своей парадигме рождения) доводы, стремясь попытаться хоть как-то выгородить, найти, быть может, точки, от которых можно было бы отталкиваться в стремлении к оправданию,-- или хотя бы оправдыванию,-- себя...

И, пожалуй, как что-то еще больше подтверждающее мою порочную сущность,-- а, иными словами, и злонамеренную ничтожность,-- я действительно (вроде бы выходит и самым незамысловатым образом) начинаю отыскивать, находить... нахожу эти самые способы защиты самого себя... Но вот далее - по истине все происходит удивительным образом... И мне вроде бы (казалось) и надо остановиться,-- да совсем даже не могу...

И нет, наверное, мне уже прощения...

Да и не должно быть...

Но что тогда вот это мое покаяние?.. Хотя это, наверное, и не покаяние вовсе...

А исповедь...

Исповедь негодя...

P.S. Но быть может уже в том, что я соглашаюсь таким образом с моей (совестью?), меня можно судить не так строго?..

P.P.S. Но вот в том-то и дело,-- что все эти поиски оправдательных слов - не иначе как очередная попытка избежать действительно назначенного судьбой наказания... Ибо знаю я - что должен себя наказать только сам... иначе 'выкручусь'... Ведь, пожалуй, и слишком хорошо зная то, на что можно надавить, за что можно 'зацепиться' в душе человека - я почти безболезненно смог бы и на этот раз избежать наказания... А потому и приговор я должен вынести себе сам, и в исполнение его привести тоже сам... Так (хоть как-то в этом запутавшемся в своей жестокости) мире может (хоть на миг, в моем случае) наступить хоть какая-то справедливость... А иного и быть не должно...

И. А. Нижинский...!.

Глава 4

Мне совсем ничего не хотелось добавлять... И тем более я не мог заставить себя комментировать написанное Нижинским... Быть может у меня появилось только одно желание - вернуть тетрадь на ее законное место... Этим я мог выполнить последнюю волю (прочитанную мной сквозь строки его страшной исповеди) покойного... Но вот в том то и дело, что я знал, что сделаю так,-- и кто сможет узнать обо всем том, что совершил этот больной, наверняка психически больной человек...

А поэтому и решился я донести иным способом его страшное 'послание' до других. Быть может это хоть кого-то заставит присмотреться к тому, что происходит вокруг них. Быть может и в их семьях... А кого-нибудь, быть может, и уберет от

того, чтобы такое никогда не произошло. Быть может это еще минует их...

Не знаю... Всегда хочется верить во что-то, пусть и выдуманное, но хорошее...

Хотя, иной раз, и то, что замечаешь вокруг, как будто свидетельствует совсем о другом.

Но тогда уже, быть может, когда-нибудь у кого-то и наступит покаяние?..

Ведь если оно наступило у Ивана Андреевича...

А такого негодяя действительно надо было еще поискать...

02 октября 2004 год.

повесть

Не запретные откровения о запретном

«Я предпочитаю быть один, но рядом с кем-то...»

С. Довлатов

Пролог

Не знаю, сколько на самом деле должно было пройти времени... Может год, может два... А может и не хватило бы десятилетия... Но в какой-то момент я просто-напросто поймал себя на мысли, что для того, чтобы заставить себя проанализировать случившееся - совсем незачем столько ждать.

Сразу замечу, что в данной ситуации, вероятней всего, анализ анализу рознь. И разнится он будет неизменно всякий раз с новой силой, так что в какой-то момент времени (если задан будет когда ему предел) все должно вернуться на круги своя; и тогда уже ничто не сможет омрачить (равно, как и изменить) того неземного состояния, в котором, иной раз, приходится нам находиться. И о которых хочется рассказать сейчас.

События, о которых пойдет речь (и которые можно было отнести к периоду... Впрочем, по всей видимости, не стоит излишне привязывать и себя и вас к какому-то конкретному времени и месту) произошли на самом деле.

В один из дней, Андрей Константинович Васильев проснулся в неожиданно худшем (чем он, должно быть, хотел сам) настроении, и выстроив в своем мозгу примерный план-схему дел на текущий день неожиданно понял, что, собственно, делать он сегодня ничего не может, как просто взять перо да бумагу, да - и это тоже он почувствовал, что надо сделать по возможно быстро - изложить то, что с ним когда-то произошло. Однако, стоило ему предаться своим воспоминаниям (а еще сложнее было проецировать их на бумагу), как Андрей Константинович внезапно понял, что сделать подобное он вовсе не может. И не от того, что не хочет. Нет. Он хотел этого. Очень хотел. Но вот только почему-то в его мозгу вдруг начала пульсировать предательская мыслишка, что ничего у него не получится.

Неизвестно, сколько бы еще он просидел в подобных раздумьях, если бы его не отвлек брошенный в окно снежок (дело было зимой), который вдруг превратился в осколки оконных брызг, которые, к счастью, его не задели, но послужили причиной

такого творческого вдохновения, что Андрей Константинович, больше ни о чем не задумываясь, стал писать.

Глава 1

'Все началось, вероятно, с моего первоначального страха по отношению к женщине. Причем женщина (и это было именно так) не была какой-то конкретной; а все, что я относил к понятию страха, и что являлось непременным следствием его (выражавшимся в каком-то загадочном сочетании моей затворнической жизни и жизни самой что ни на есть жизни 'активной', когда я, окунаясь в пучину любовных приключений, только через энное количество суток возвращался домой - обессиленный и уставший, и, закрывшись ото всех, - не выходил несколько дней) касалось, по всей видимости, женщин всех без исключения. Женщин как таковых.

Дождавшись того состояния, когда я уже, казалось, и не мог больше ждать, я наспех накинул на себя то, что находил больше подходящим для этого времени года, и вышел на улицу. Сама улица не представляла из себя ничего интересного, как лишь только тех, кто по этой улице ходил. Вернее, кого я мог встретить. А интересовали меня женщины. Причем, не абы какие, а только те, у кого я мог вызвать хоть какой-то 'интерес'. Причем, совершенно не знаю, почему и когда так повелось. Конечно, внешне я не красавец. Среднего роста (быть может, чуть пониже среднего роста), худощавый (скорее даже худой), с жиденькими (какими-то уж слишком светлыми) волосами, чуть прихрамывающий на правую ногу (последствия перенесенного в

детстве полиомиелита), и оттого всегда пользовавшийся тростью, придававшей, впрочем, мне даже какое-то загадочное изящество (ну, так я считал).

Бороды и усов я не носил. Хотя отпускать пробовал. Но уж слишком быстро становился похож на какого-нибудь дьяконька, с его редко и взлохмаченной бороденкой и такими же... впрочем, и так понятно, что вместо усов у меня выросло нечто неопределенное.

Да, ходил я всегда в неизменном костюме с галстуком. Причем, галстуков у меня было такое количество, что я легко вводил в заблуждение своих знакомых, считавших что у меня наоборот - очень много костюмов. Что было совсем даже не так. Да и на улицу последний раз я выходил уже и не помню когда. А все больше сидел дома, забившись в угол, и мечтая совсем черт знает о чем.

Кто знает - хорошо это или плохо? Но другого выхода у меня не было. Ибо случились со мной все признаки депрессивных состояний (описанных скорее в учебниках психиатрии, чем реально встречаемых у простого обывателя), и я, признаться, совсем не мог от них избавиться.

В тот вечер (всего лишь один из вечеров) все происходило по единому (и уже почти неизменному) сценарию. И был еще он примечателен тем, что именно тогда я встретил женщину (одну из нескольких, относительно надолго задержавшихся в моей жизни), ставшую в некотором роде поворотным механизмом единой цепи жизненных обстоятельств, о которых можно было судить как о пришедших надолго (но уже

тогда подсознательно мне казалось, что не навсегда; что вскоре и подтвердилось).

Звали женщину Варя. Была она по-русски красива, столь же высока и массивна, и носила русую косу (довольно длинную и всегда искусно и заботливо заплетаемую); и все это наряду с другими мельчайшими деталями (многие из которых становились заметны лишь при очень ближайшем рассмотрении) позволяло предположить, что являла она образ той русской красавицы, который и был распространен в народе.

Не знаю, в какой мере это было именно так. Тем более, что поначалу (уже совместной жизни) мне так и казалось; но потом видно что-то надломилось в душе (быть может и не только моей), что заставило на каком-то этапе сбежать мне от этой самой любви (оказавшейся не такой уж безобидной и наивной как то казалось поначалу. Правда, чтобы мне окончательно понять это, потребовался почти год совместной жизни); и когда на самом деле все закончилось, все пройденное мне показалось таким испытанием, что впору было серьезно задуматься - заслужил ли я подобного?

Второй была Вера. Случайно открывшееся имя, как оказалось, было даже и не совсем случайным, и должно быть подспудно я остановился на ней скорей всего и потому (понял это только сейчас, когда уже прошло достаточно времени, а главное - случилось серьезное переосмысление происходящего) что тогда еще (сразу после расставания) жил во мне некий комплекс вины (как, оказывается, это мало в сравнении с другими моими комплексами), изводивший меня самыми что ни на есть тягостными сомнениями в мной совершенном.

Вера была почти на десяток лет старше меня (удивительный виток, учитывая, что Варя была почти на столько же, но младше), и даже внешне чем-то напоминала мою предыдущую пассию.

Но не это было главное. В своих отношениях с женщинами (и, прежде всего, в выборе их) я ставил во главу одно обстоятельство, которое неизменным образом повторялось почти всегда: женщин я искал... ну, как бы это сказать... не тех, которые что-то представляли из себя внешне. Вернее, они обязательно должны были что-то и представлять; но вот только это ни в коем случае была не красота. И даже не сексуальная притягательность (хотя нечто подобное - как я считал - обязательно должно было присутствовать). Все мои женщины (и особенно те, с которыми я не только встречался, но и в отношении которых на каком-то этапе нашего общения начинал строить какие-то 'планы') имели какой-то незначительный изъян (будь-то слабо различимый внешний, или же довлеющий над их подсознанием - внутренний), из-за которого чувствовали они (пусть и незначительно, но это неизменно должно было присутствовать) свою, так сказать, небольшую 'ущербность', и быть может потому, когда видели в моем лице необычайно обходительного 'кавалера' (а как только я чего-то хотел, то преображался до неузнаваемости), то почти наверняка уже попадали в расставленные мной сети (немного цинично, но это наиболее выражает результат проделанной мной работы), и пребывали в них до тех пор, пока или я того желал, или же все их взбесившееся внутреннее 'Я' начинало восставать против, и тогда уже ничего мне не оставалось, как прекратить наши отношения, предпочитая расстаться по хорошему.

Собственно говоря, так получилось и с Верой.

А до нее и с Варей.

Что до меня, то еще долго после подобных 'разлук', жил я кадрами воспоминаний, которых накопилась уже достаточная фильмотека в моей помнящей все до мельчайших деталей памяти.

Иной раз в моем нещадно эксплуатируемом мозгу случались какие-то (технические) 'сбои', и тогда эти две женщины, словно очутившись в одно мгновение наедине со мной (хотя в жизни они, должно быть, даже и не знали о существовании друг друга) вступали в те удивительные 'отношения', которые, впрочем, обрывалась так же внезапно, как и начинались...

--Ты считаешь, что я это должна делать?- глаза Вари сделались испуганно-удивленными, и она с трудом оторвалась от картинки эротического журнала, где с виду опытная женщина делала мужчине то, на что намекал Варе я. - Ну не знаю... Нет, нет... Я... я ведь совсем не о том... Просто я боюсь, что не получится у меня так, как того хочешь ты... Ну хорошо, хорошо, я же не отказываюсь... раз ты настаиваешь... Что? Мне это должно понравится?.. хотя да, это должно понравится...-- и Варя наконец решившись, немного скашивая глаза (словно сверяясь) на раскрытую страницу, стала применять на практике увиденные только что знания.

--Не так ты это делаешь, совсем не так...--внезапно откуда-то появившаяся Вера легко отстранила раскрасневшуюся соперницу, чтобы тут же продемонстрировать такой уровень мастерства, который можно было получить только самым что ни на есть опытным (в смысле, благодаря большому опыту) путем.

Во всем этом, должно быть, предусматривалось и мое какое-то участие. Но было так приятно смотреть, как женщины обо всем договорились между собой, распределив роли, что, признаться, вмешиваться мне и не хотелось.

И не было у нас ни ссор, ни распрей, ни сомнений в том, что делаем мы что-то не так. Да я и вовсе старался избегать каких-то конфликтов, предпочитая чтобы заканчивалось все (как и начиналось) в гармоничном единении со своим (и с их, разумеется) внутренним 'Я'.

И до сей поры, быть может, так бы выходило (и продолжалось бы и дальше), не познакомившись я с моей третьей 'пассией', - надолго (а год-два уже срок) задержавшейся со мной, и которая на какое-то мгновение (показавшееся чуть ли не вечностью) завладела моим сердцем. Сердцем, но не разумом, ибо то, что находилось у меня в голове, предпочитал я никому не раскрывать (как ничто 'лишнее' и не впускать туда; что, замечу, мне не всегда удавалось).

Глава 2

--Ну что же ты -- боишься меня?

--Боюсь?- удивился я, и на какой-то момент, пожалуй, уже и мог согласиться с этой блондинкой с удивительно развитыми формами, с которой опустился почти одновременно (сначала она, потом я) на тахту, и вынужден был подчиниться ее ладошкам, которые отбросив (вместе с той незначительной одеждой, что была на ней) ложную скромность, принялись делать свое дело.- Ну подожди же, подожди,--на миг было смутился я, но тут уж окончательно был вынужден смириться. И словно пелена

запретной страсти окутала меня, а когда очнулся, то на миг даже задумался: а было ли это все на самом деле?

...С Лелей я познакомился даже не рассчитывая на это. Хотя, скорее, познакомилась со мной она. А я лишь был вынужден подчиниться, все равно не веря в реальность происходящего, и отчего-то полагая что все между нами очень быстро закончится. Значит ли это, что я ошибался уже тогда? Ибо на самом деле Леля задержалась в моей жизни значительно дольше. И даже когда - через полтора года - мы расстались, мне почему-то что-то мешало по настоящему поверить, что это так.

Но удивительное дело: сейчас, по прошествии вроде бы и того незначительного срока, что мы были вместе, я периодически ощущаю некоторую тревогу. И уж слишком навязчивая мыслишка всплывает во мне долгоиграющей пластинкой: а почему вышло так, что мы расстались?.. И мне кажется, что поведи я себя тогда иначе... Быть может тогда бы и не было всех этих бы испытываемых мною мучительных воспоминаний?!..

--Ты считаешь, что отмечаемые тобой раннее табу должны быть востребованы? -- уже удивительно, но, только спросив ее об этом, я уже сам считал, что это так. И уже раскаивался, что задал такой вопрос. Потому что на самом деле и не это хотел вовсе сказать. Но быть может я и мог что-то сказать другое, но как только собирался сделать это, невидимая пелена становилась передо мной. А мое затуманенное (или затуманившееся?!) сознание не отпускало меня обратно. А потом проходило еще всего лишь мгновение, и мне хотелось вернуть все на круги своя; и прижать эту вдруг ставшую недоступной

женщину к себе. И не было уже у меня иного желания, как желать, что б это сейчас случилось именно так.

И когда мне удавалось это, радовался я как мальчишка. И готов был еще долго пребывать в таком состоянии, но проходило это вскоре. Потому как было это всего лишь самообманом. И как при любом заблуждении, когда-нибудь наступал тот период, когда приходилось одергивать себя; признавая, что было это только мечтой; но мечтой, впрочем, настолько желанной, что когда исчезала она, было нисколечко не жаль, что когда-то была. Потому что хватало мне и этого. Ну, в какой-то мере хватало...

Моя Леля - тогда еще моя - была слишком импульсивная женщина. Но это прощалось ей, потому как была ее красота столь несравненна, что и не только я (об этом узнал я уже позже) вынужден был ей прощать все, смиряясь со всем что происходит (происходило), и принимая ее исключительно такой, какой она есть. И даже если и ловил себя на мысли, что так и не должно было быть, все равно уже в следующее мгновение забывал о том. Стоило только ей ласково посмотреть на меня. И как только происходило такое, почти в ту же секунду забывались какие-то мои сомнения (уже казавшиеся мне такими мелочными и незначительными, что о них и говорить то не стоило; не то, что замечать их). И я уже не мог прожить без Лели. Хотя проходило еще какое-то время, и уже вроде как и не считал я так. Вернее, уже и считал совсем даже не так. И должна была пройти, наверное, вечность (а у влюбленных совсем другое исчисление времени), прежде чем действительно я изменял свое решение, и жаждал уже увидеть ее, чтобы вышептать ей в любовном пылу (подняв из самых глубин своего 'Я') все, что способен был только в тот

момент о ней думать. И даже зная уже тогда, что будет такое состояние совсем недолговечным, и когда-то обязательно закончится, я все равно признавался ей в любви.

Я не помню, кто обычно становился инициатором каких-то выяснений отношений между нами. Но случалось так, что они происходили все чаще в последнее время. И, наверное, когда-нибудь и должны были привести (а в итоге и привели) к тому окончательному разрыву, когда говорят уже друг другу все что думают, и хлопают дверью; чтобы, впрочем, через какое-то время пожалеть о случившемся, и желать возвратит все обратно; а потом мучиться и страдать; и тихо выть от боли расставания, как будто инсценированного самим собой, но... Но потом уже приходило (как будто обоюдное) понимание, что ничего как вроде и возвратит уже нельзя. И тогда становилось по настоящему больно и обидно. И хотелось выть от душевной тоски. И заниматься элементарным самоедством. Понимая, что ничего уже не вернется. И никогда не будет как прежде.

Собираясь, было, задуматься (и непременно решить для себя): как не попадать в подобные ситуации (потому как тревога разлук отнимает много и времени и сил, и душевного спокойствия), я внезапно понял, что какой-то панацеи от этого и не существует. Не сейчас, так в другой раз (и, к сожалению, это случится непременно) я вновь попаду в похожую ситуацию. В ситуацию как будто бы совсем неразрешимую. И тогда мне ничего больше не останется, как вновь принять как есть то, что уже имеется.

А решение так и не решенной проблемы оставить как бы на потом. Хорошо зная, что никогда к ней уже вернуться и не

удаться. Да и это, собственно, и не потребуется. Ибо вновь (как бы заново) возродятся те проблемы, от избавления от которых я совсем недавно праздновал победу. Все придет на круги своя.

.....

....

Алена, казалось, подходила мне полностью. В меру высокая, длинноногая, и при этом с такой лучезарной улыбкой (освещающей и в меру развитый бюст, и кудри пепельных волос, и на удивление кроткий характер), что сразу я подумал, что это видимо не мой типаж, потому как таким я не нравлюсь. Да я и до сих пор, если честно, удивляюсь, что во мне могли находить такие женщины?! Не красоту же? (ее просто не было). Но тогда что? Знали бы они о моих (жутких... необычайно жутких) страхах да кошмарах. От которых не знал я как избавиться. И уже так с ними свыкся, что почти не замечал их. А они случались с регулярной настойчивостью. Как будто затихая на время. А потом начинаясь вновь. И чаще - еще сильнее предыдущего раза. Хотя уже и думал я,-- куда же может быть еще сильнее. А вот нет...

И возникали они вновь. Силком выдергивая меня из начинавшейся уже было 'нормальной' жизни (когда их не было -- я с детской наивностью начинал о них забывать), заставляя становиться на несколько дней настоящим 'отшельником'. А потом как будто вновь все проходило. И я возвращался (осторожно и недоверчиво, тайно ожидая повторения) к жизни. И тогда даже пробовал что-то писать; вспоминая и конспектируя свои недавние состояния. А иногда это случалось и во время душевного кризиса. Когда я внезапно успевал подкладывать бумагу под перо. Хотя и то, что получалось в результате этого - потом совсем невозможно

было читать. И я или рвал, или сжигал свои записи. А потом плакал. Не в силах смириться с утратой...

Поначалу я чувствовал некоторое... нет, даже не отчуждение... А скорее... безразличие к Алене... Мне казалось, что с ее стороны это просто игра. Что не может такая внешне 'неподступная' красавица увлечься маленьким и хромоногим (уродцем?).

Но уже потом, когда я серьезно анализировал то что между нами было (и, конечно же, в первую очередь задаваясь вопросом: как это произошло?), то ко мне стала напрашиваться удивительная мысль; которую я сразу и всерьез-то не воспринимал; а потом она неожиданно заняла главенствующее положение. А дело все в том, что Алена... страшилась своей красоты... И уже потому,-- нашла то (вернее - 'того'), перед кем она как бы изначально чувствовала свое преимущество. И могла бы 'подарить' ему свою любовь. Как бы компенсируя (в своей душе) внутреннее беспокойство от зависти, которое она замечала в глазах окружающих.

И я уже могу сказать, что она сделала правильно. И не только потому, что нормализовала таким образом свое душевное равновесие. Но и потому (уж извините меня), что подарила необычайные наслаждение мне. И хоть как-то, тем самым, повысила и мою собственную значимость. (Значимость в собственных глазах - самого себя).

И все же, я еще долго присматривался к Алене. 'Присматривался' даже тогда, когда мы уже стали жить вместе, и она всецело находилась в моей власти (выполняя те многочисленные сексуальные фантазии, которые рождались в

моем -- воспаленном? -- воображении). Причем, что удивительно, чем эти самые мои 'фантазии' были абсурднее и противоестественнее, тем, казалось, Алена выполняет их с еще большим трепетом и какой-то невероятной 'ответственностью'. И это казалось мне удивительным. Но я совсем не мог заставить себя прекратить свои (сексуальные) эксперименты. Тем более что Алена,-- все равно беззаговорочно выполняла все, о чем просил ее я. И мне бы наслаждаться этим. Но я... Я с какой-то маниакальной настойчивостью вел наши отношения к разводу. И в конечном итоге я добился того, что (бессознательно!) хотел. И только потом вдруг понял - какой же я был негодяй и подлец. И, наверное, просто дурак.

Но совсем ничего не мог с собой поделать.

Но вот что любопытно. После Алены я совсем перестал бояться красивых женщин. И даже более того - чем женщина была внешне изящнее,-- тем смелее я был по отношению к ней. Потому что... Потому что -- тем больше она мне казалась... беззащитнее...

А потом я и вовсе стал использовать почти всегда одну и ту же 'тактику'. Я понял, что 'идеала' просто не существует. И потому моя задача состояла в том (при знакомстве с женщиной), чтобы найти в ней что-то, что вызывало бы в ее душе 'внутреннюю тревожность'. А потом успокоить ее. Убедив,-- что именно это, наоборот, ней самое прекрасное.

И у меня получалось.

(Хотя, конечно же, бывали случаи, когда какая-нибудь 'красавица' не подчинялась реализованным в отношении ее 'установкам', и выскользнула из рук. Но со временем так

случалось все реже. Да и то, зачастую, лишь только поначалу. А потом я просто стал осторожнее...).

И все же, из своего опыта общения с Аленой (хотя, точно также можно было 'благодарить' и Лелю; а еще раньше, и Веру, Варю, да и всех тех многочисленных женщин, которые пронесли по моей жизни, оставив лишь только память) я вынес одно: я мог быть любим. И мог дарить любовь. И быть может потому, мне совсем были не страшны те трудности, которые наверняка еще поджидали меня впереди.

Но вот в том то и дело, что они мне уже не казались таковыми...

Глава 3

В периоды глубочайшей (по получившемуся распространению) эмансипации женщин, я тем не менее не находил каких-либо ощутимых трудностей в общении с ними. (И это несмотря на мою не слишком представительную внешность!).

Однако, на каком-то этапе, видно, что-то надломилось (в душе или в сознании?). И я уже не мог похвастать той легкостью, которой оперировал прежде.

И не успел я еще в полной мере испугаться этому, как почти тот час же окружили меня те мои ужасы, страхи, кошмары (и все это наряду с жуткой неуверенностью в себе, сменяемой - если все же сделать хоть что-то удавалось - диким чувством вины), от которых доселе я как вроде и мог избавиться. А еще точнее,-- просто не замечать их.

Теперь же я остался один. И старался не думать о том, что мне следует делать в первую очередь. Потому как просто уверен... Да ни в чем, на самом деле, уверен я не был...

Вся причина была в моем состоянии...

В самые страшные минуты (когда мое подсознание, абсолютно не подчиняясь мне, выносило 'наверх', из глубин, все то низменное, что я даже и не предполагал в себе), мне хотелось сбежать куда-нибудь. Но ведь невозможно, наверное, убежать от самого себя?

И все же я пытался. Хотя, что сейчас было говорить о том. Тем более что и сами попытки, по большому счету, почти всегда оказывались безуспешными. И мне уже ничего не оставалось, как просто смириться с происходящим...

Но ведь мне как-то нужно было жить дальше. Ведь я понимал, что все эти мои 'странности',-- не есть нечто на самом деле загадочное. Ведь это было как бы следствием той патологии, которая заключалась в моей психике. И от которой я если и хотел - то на самом деле совсем не собирался избавляться.

И это было по настоящему страшно. От этого было страшно. Но... но я совсем не мог изменить себя. Хотя иной раз и пытался...

.....

С Инессой я познакомился, по всей видимости, сам того не желая. Ибо являлась она для меня тем катализатором, который способен был уравновесить мою вконец расшатавшуюся психику. И понимая это, с первых же минут нашего случайного знакомства (довольно банального - на улице), я обрушил на нее все то, что

считал, непременно должно было подействовать на такую женщину, каковою являлась она.

Инесса была среднего роста. С развитыми бедрами и грудью. Но прежде всего, она мне запомнилась своим удивительным ртом; который (помимо всех даримых ей и им наслаждений) являл собой внешне необычайно запоминающийся орган любви.

Был ее рот словно вырисован специально. Будто принадлежал он и не человеку вовсе. А какой-то кукле. Так он казался очерчен, и расходился своими уголками вроде как и до самих ушей, чем-то напоминая полураскрытую пасть кашалота (мне все время хотелось в него что-то положить; что я, признаться, периодически и делал; и чем доставлял необыкновенную радость его обладательнице).

Да и Инесса (могу с некоторым смущением признаться), часто сама меня о том просила.

Ее черные, собранные кверху волосы (так что, в иные мгновения, напоминали что-то наподобие средневековой башни) моментально становились растрепанными во время страсти. И это выглядело очень эротично (и как-то по особенному сексуально), потому что разбегались они разом по всему лицу (скрывая его). И приходилось раздвигать их в стороны (выискивая то, что они скрывали на тот момент). И когда получалось это, мне (да и, наверное, ей) было вдвойне приятно. Потому как дарило какие-то новые ощущения...

Инесса, как я уже сказал, была совсем не против того, что при нашей с ней близости ей приходилось 'работать' зачастую только одной своей частью тела. Да и вообще (уже в

последующем; вернее, в последующем это было более осознанным и целенаправленным, чем, то было раньше) в каждой женщине я с тех пор находил то место (для каждой - свое), при проникновении в которое эта женщина испытывала какую-то особенную радость.

Инессе было двадцать семь. И наша разница в возрасте предполагала некое подобие (быть может, что и было заметно только косвенно) моего 'отеческого' участия. По крайней мере, когда касалось каких-то совершенных ей ошибок, я предпочитал совсем ничего такого и не замечать.

И видно в чем-то таком совершил ошибку. Потому как стала Инесса весьма пользоваться моим расположением. А отсюда недалеко и до адюльтера. Который, впрочем, вскоре и случился.

Причем, до того момента, когда это заметил я (предпочитающий всегда абсолютно снисходительно относиться ко всему), по всей видимости, число ее 'измен' перевалило за добрый десяток (мне больно думать, что это было на самом деле намного больше). Что и послужило причиной нашего расставания.

Расставшись со своей очередной 'красавицей', я какое-то время пребывал в состоянии легкой эйфории, которая, впрочем, вскоре улетучилась, так как вынужден был вновь (в который уж раз?) принимать существующую жизнь - такой, какой она есть. И в ситуации со мной это было весьма несладко.

Уже позже (быть может даже и много лет спустя), анализируя периодически обрушивающиеся на меня проблемы, я пришел к невеселым заключениям, свидетельствующим о моей полной неспособности к какому бы то ни было одиночеству. Потому как, когда случилось одиночество, мне приходилось испытывать муки намного большие, чем способен был

испытывать какой другой человек. И как раз, когда подобных случаев (тех случаев, после которых я оставался один) набралось уже достаточное количество, вероятно, только тогда я научился находить причину, из-за которой было возможно все это.

Но, забегая вперед могу сказать, что все это, на самом деле, ни к чему не привело. И каждый раз продолжалось вновь и вновь... Но... как же я всегда укорял себя! Глупец!- говорил я.-- Как же ты ошибаешься!

И сейчас, когда я остался действительно один (и подобное одиночество продолжается последние три года), мне иной раз становится нестерпимо больно! Больно за все мной совершенное! Только сейчас я стал понимать (но что это 'понимание' мое, когда уже все случилось?!), что почти во всех ситуациях прошлого можно было действовать иначе. А там, где как вроде бы и нельзя было, - то по всякому можно было что-то и не допустить...

Причинной всех моих конфликтов (даже тогда, когда они и не были явно выражены,-- они все равно являлись таковыми по своей сути) была собственная эгоистически настроенная натура, которая рождала в моей голове мысли, неизменно приводящие к полученному результату.

Но что мне оставалось делать? Изменить себя я не мог. (А хотел ли?). Но при этом понимал, что если не стану этого делать - все останется так, как прежде. И это был, наверное, еще один повод задуматься, чтобы постараться хоть как-то пресечь ситуацию.

Что я и сделал.

А результат известен.

Но это сейчас. А тогда, после Инессы, через мою жизнь прошла целая череда 'любвий'; ни на одной из которых я не мог задержать свой взгляд более чем два раза; пока, наконец, я не встретил... Виолетту.

Виолетта была совсем молоденькой девушкой. 18-ть лет! Она приехала в город из какой-то глубинки (поступать в Университет), и с позиции своего роста (была она, как минимум, на голову выше меня), да необычайно красивой внешности, вероятно совсем незначительное время взирала на все окружающее, пока с ней не познакомился я (на какой-то художественной выставке).

Красота Виолетты была удивительна! Хотя, скорее, дело здесь не только в необычайно длинных (своих!) ресницах, да художественно-правильных чертах лица. А еще и в том внутреннем сиянии, которое через ее скромно-восторженную улыбку передавалось на окружающих.

Что до меня, то я уже не так переживал по поводу своей внешности, потому что совсем недавно испытал на себе новейшие достижения нашей медицины, в результате которых на удивление легко смог избавиться от своей хромоты, и если и ходил до сих пор с тростью, то это было исключительно для придания внешней величественности (потому-то и саму трость я выбрал такую изящную, какая только встретилась мне чуть ли не в самом элитном магазине города).

Свой рост я тоже слегка увеличил. И теперь вполне дотягивал до роста среднестатистических мужчин.

А как только произошло это, то почти тот час же почувствовал такую необычайную уверенность в себе, что

попутно решил несколько старых (и ужасно 'залежавшихся') проблем, к которым уже и не думал когда-то вернуться.

Прежде всего, я смог обменять свою небольшую квартиру на большую. И к тому же прикупить еще небольшую дачку с садом, 2-х этажным домиком, да разбитым на территории водоемом.

Оставались, правда, деньги еще на более-менее приличный автомобиль; но к нему у меня душа никогда не лежала; тем более я как-то привык к такси.

Была и еще одна причина изменений, произошедших со мной.

А все дело в том, что я мне наконец-то удалось напечатать несколько своих романов на Западе (куда я, помнится, собирался когда-то эмигрировать; но потом как вроде бы передумал; а сами романы отложил 'в стол' 'до лучших времен'; почти и забыв про них).

Однако удивительно, чем больше узнавал я Виолетту (а что тебе нравится из живописи? Импрессионизм?! А из литературы? Экзистенциализм?! А из поэзии? Футуризм?! А из...), тем больше поражал ее внутренней необычайности, той, что уже никак нельзя было угадать внешне.

И я уже не пытался разгадать: от чего она увлеклась мной, мужчиной намного старше ее? Ибо перестал все давно уже понимать. Особенно когда узнал, что ее родители были почти моими ровесниками. И, при этом, деспотичный отец совсем не был похож на меня (потому что даже самую серьезную проблему старался я выставить в самом лучшем свете, -- а он нет).

Но я и не переживал от того, что что-то недопонимаю. А просто старался наслаждаться жизнью. Жизнью с Виолеттой.

И наверное оттого, она все больше мне казалась 'родной и близкой'. И всегда радовалась и улыбалась мне. А я ей.

Помимо наличия у Виолетты множества черт удивительно отличавших ее от сверстниц, она еще, как оказалось, и неплохо разбиралась в литературе (чего уже совсем, признаться, я не ожидал, учитывая ее совсем юный возраст).

Кстати, по своему складу ума Виолетта была ярко выраженным критиком. Она почти полностью отвергала литературу 'до XIX века'. А 'из классиков' считала гениальным только Гоголя, Достоевского, да Толстого. (Остальных ставила несравненно ниже, с чем я, признаться, не мог с ней согласиться). Причем отвергала почти всю 'советскую литературу' (кроме Булгакова, Пастернака, да совсем незначительного ряда писателей). Зато с точно таким же азартом превозносила эмигрантскую прозу (Набоков, Аксенов, Солженицын, Войнович, Марамзин...), и необычайно любила - вот уж для кого практически не делалось исключений -- западную прозу. Именно среди западных писателей Виолетта чувствовала себя 'как рыба в воде', и могла часами говорить о Джойсе, Прусте, Кафке, Кундере, Борхесе, Картасаре...

--Опасно сравнивать несравнимое,--как-то попытался вступить я с ней хоть в какую-то полемику, но тут же вынужден был ретироваться: говорить Виолетта любила только сама, и чье-нибудь мнение ее совершенно не интересовало.

Сказать, что мне просто нравилась Виолетта - значит не сказать ничего. Меня буквально вдохновляла эта девушка! И всего

лишь через месяц общения с ней я поймал себя на мысли: как же мог жить без нее раньше?!

Удивительно, но в какой-то момент я почувствовал, что нахожусь под влиянием этой девушки. Хотя, должно быть, она считала то же самое про себя. По крайней мере, Виолетта - в отличие от меня - не стеснялась мне об этом сказать.

Да она вообще мало что стеснялась... Довольно быстро раскусив 'столичную' жизнь - практически полностью обновила гардероб. И теперь дефилировала в узких джинсиках да куске какой-то короткой тряпки (что-то типа мини-топика, хотя куда уж мини?), вызывая в головах большинства мужиков-прохожих череду эротически сексуальных фантазий. 'Ну это и хорошо', -- шутила она. - Будут лучше выполнять свой супружеский долг, -- добавляла задорно смеясь Виолетта, с каким-то особым восторгом (как бы 'случайно') приоткрывая перед ними свои женские прелести.

Глава 4

--...Ты должен винить только себя! - пытаюсь я выхватить из бросаемых мне в лицо обвинений (а ракурс таков: светлая челка норовит сама прикрыть рот, и ее обладательница через каждые несколько секунд ожесточенно дует на нее, в запале делая какие-то хаотичные движения головой, пытаюсь, должно быть, одновременно и отбросить уже намокшую от гнева челку - времени-то прошло, наверное, немало, - и указать выбрасываемым коротким словам какое-то подобие цели; потому как после каждого такого движения ее подбородок слегка меняет горизонтальную естественную плоскость; так что и глаза тоже

слегка скашиваются; и хоть и смотрит эта странная женщина на меня, но вот только видит ли - не знаю?) хоть какую-то суть.

...С Люсей я познакомился еще 'во время' Виолетты. Это была 40-ка летняя вдовушка; с большой грудью; копной огненно-рыжих волос; и с взглядом человека, истосковавшегося по любви.

На излете наших с Виолеттой отношений, довелось мне как-то возвращаться поездом из Москвы (одно столичное издательство заинтересовала моя рукопись). Как только я очутился в замкнутом пространстве купе с незнакомой женщиной (бросающей еще на перроне на меня какие-то загадочные взгляды), то почти тут же почувствовал такое исходящее от нее желание, что стоило будто случайно (...извините...) коснуться ее груди - как словно бы она только этого и ждала, и я совсем не заметил, как все у нас и произошло.

А еще через неделю, уже словно случайно (хотя, быть может, то и действительно была случайность) столкнулась она со мной в магазине; после чего переехала ко мне.

Удивительно, но я даже не знал - хотя шел тогда, помнится, третий год нашего 'общения' -- ни ее вкусов, ни пристрастий, ни даже толком-то - и ее мыслей. Да это и немудрено. Ничего кроме секса, самого жестокого секса, с заранее отменяемыми (даже заикнуться не дозволяется) табу, условностями и проч., я думаю, что ничего ей от меня было и не нужно; да и редко когда встретишь такую женщину, которая, казалось, только и рождена для того, чтобы 'заниматься любовью'...

С Виолеттой, конечно, пришлось расстаться. Я даже думаю Люся сама способствовала тому. По крайней мере, я до сих

пор сожалею, что пошел на поводу бабьей глупости; хотя как будто и специально старался сделать все так, чтобы никто никогда ни на что не был бы обижен.

А потом в Люсе открылась одна, скажем так, 'вредная' деталь характера. Поднимала она - и в том то и дело, что без какой-то особой причины (это был даже не тот случай, когда вам кажется что причины, вроде как, и не было, а 'негодующая' женщина сможет до мельчайших тонкостей указать все ваши промахи и просчеты - в моем случае причины действительно не было) - такой грандиозный скандал (со всей сопутствующей атрибутикой, как-то: закатывание в истерике рук, неизменных слез, а случалось - и с площадной бранью), что я почти тот час же понимал: почти два десятка лет Люсиного стажа малярой - не прошли бесследно.

Правда, через какое-то время (первоначального недоумения) нашел - необычайно, кстати, быстрый - способ сводить на нет все эти ее глупые женские напасти. Причем пришел к этому случайно-опытным путем. Перед тем, как уйти в другую комнату (традиционно хлопнув дверью), что-то заставило меня (может крик ее к этот раз был необычайно громким) обхватить Люсю руками, и вполне обычной подножкой свалить на стоящий рядом лежак (дело было, помнится, в кухне, на которой я часто засиживался ночами, перечитывая прессу да посматривая краем глаза телевизор). И вот когда произошло это, вдруг я почувствовал, что вместо того чтобы 'отбрыкиваться' (что, в общем-то, учитывая ее телосложение, ей не доставило бы большого труда), она наоборот, теснее прижалась ко мне. Причем, ее руки (словно бы случайно, а что еще верней, 'по привычке')

стали ласкать меня там, где, в общем-то, было как-то по особенному приятно.

В итоге, скандал как-то быстро сошел на нет. И хотя по прежнему из нашей квартиры были слышны крики, - теперь это уже были крики совсем иной направленности.

А потом стал я замечать, что Люся все больше специально инсценировала все эти скандалы. Уж очень ей, видимо, нравилось 'примирение'.

...После того как я расстался с Люсей (это все равно пришлось сделать), я решил жить совсем без женщин.

И что самое интересное, проходило время, а я только корил себя за то, что не сделал этого раньше.

Раскрывшийся передо мной мир наполнился совсем новыми красками. Теперь я обращал внимание на то, чего совсем не замечал раньше.

И только сейчас я понял, что все женщины, по сути, ужасно эгоистичны. И впервые за долгое время освободившись от подобного груза, я на самом деле необычайно обрадовался. Обрадовался настолько, что неожиданно для себя был счастлив каждый день.

Я стремился насладиться новыми ощущениями. Представляете, когда вас никто не ругает, не корит, вам не надо ни под кого подстраиваться, вы живете в своем, а не выдуманном мире, в мире, в котором вынужден жить каждый мужчина, подстраиваясь под женские 'причуды'.

Мне даже открылось сейчас то, что приходилось (почему?) упускать раньше. Хотя и это пока еще ускользающая истина, как оказалось, не была для меня откровением только

сейчас. О чем-то догадывался раньше (правда, прежде чем была она способна сформироваться в какие-то решения - проходило время). Что-то просто желал, сожалея, что никак такое желание не способно трансформироваться во что-то стоящее (то есть с заранее известным результатом).

...Однако, проходили дни, недели, месяцы, и окружающая меня тишина начинала пугать. Из всех щелей полезли те ужасы, половину которых я ранее просто старался не замечать; а от другой половины думал что избавился.

Теперь мне уже было не так весело.

Я неожиданно стал ощущать себя постоянно подавленным. Приходилось чураться всех и каждого. Создавалось впечатление, что в квартире все время находится кто-то еще.

Каждый шорох, скрипнувшая половица, пошатнувшийся дверной косяк, шаги соседей за стеной - начинали иметь для меня какое-то новое - и особое - значение.

И еще страшнее становилось от осознания того, что они будут нести в себе продолжение. Так что я уже не мог спать (если пытался, то никогда не выключал ни телевизор, ни свет). У меня пропал аппетит (ел вынужденно, забрасывая что-нибудь в свой рот, потому что не мог заставить себя долго находиться за этим занятием). Совсем перестал писать. Да и вообще, могу заметить, что у меня пропали любые желания.

И если в самом начале я еще понимал, что стоит мне спуститься вниз, к людям, и у меня могут исчезнуть многие симптомы,-- то сейчас, когда неожиданно заметил, что прошло уже полгода моего нахождения в таком состоянии, я понял, что на

самом деле ничего не изменится. Не изменится в лучшую сторону. А худшая... худшая наступит и сама...

Глава 5

Несравненно худшей из ситуаций я считал ту, когда человек один. Быть может в ином другом случае это и выглядит неким 'подарком'. Но в моем,-- череда обрушившихся на меня несчастий позволяет мне считать совсем иначе.

Конечно, еще, наверное, можно было все изменить. Ведь найти такую же как я одинокую женщину не представлялось такого уж большого труда. Но хуже всего было то, что я был уверен в том, что пройдет какое-то время, и все повторится. Вновь закрутится колесо встреч, размолвок, и расставаний. А этого, - после какой-никакой, но свободы, - мне этого не хотелось. (Я просто не верил, что все будет хорошо!).

Но и дальше погружаться в пучину мрачных мыслей не хотелось тоже. Надо было искать какой-то выход. К сожалению, это было бы самым простым из того, что хотелось.

Простым,-- в одночасье для меня ставшим необычайно сложным.

И не было уже той силы, которая еще недавно сдерживала меня, выискивая на тот момент единственно возможный сдерживающий путь. Все сейчас пришло в проникнутую леностью негодность; и мне в один момент показалось, что я не могу уже больше выносить подобных мук (а к ним прибавлялись уколы совести. Ведь только я был виновен во всех произошедших со мной 'расставаниях'. И, быть может, это было и не совсем так, - но я не находил компромисса). Вмиг и разом пришли в упадок

строенные всю жизнь замки будущего. Я ощутил беспросветную пустоту, которая втягивала меня вглубь, и уже ничего не мог, не был способен замечать дальше. И, конечно же, это не результат именно последнего расставания. Это незапланированный итог жизни. И мне показалось - судьба (есть ли она?) дает предостережение - не стоит и дальше сопротивляться тому, что должно было свершиться все равно. И быть может только остановился бы я раньше - не изломаны бы были десятки других судеб. А так...!.

Понимая, что на самом деле попал в тупик, из которого не возможен выход (а если и возможен, то лишь кратковременный, с конечным точно таким же результатом), с какой-то жалостью и болью в глазах (и словно о чем-то сожалея) в который уж раз посмотрев на разложенные (в некотором хаотичном порядке; детские фото перемешивались с фотографиями любовниц, жен и подруг) на столе фотографии, и еще раз выхватив глазами каждую из них - остановившись немного дольше на родителях и себе, когда был еще малышом, -- Андрей Константинович Васильев, 44-х летний сочинитель так и не принесших ему прижизненную славу повестей, рассказов, да нескольких небольших романов, закончив писать свое последнее произведение слегка откинулся в кресле, немного оттолкнувшись ногами от письменного стола, потом словно 'соглашаясь' с самим собой, вздохнул, осторожно вставил дуло извлеченного из ящика стола револьвера себе в рот, и зажав его зубами - выстрелил...

23 февраля 2004 год.

повесть

Обычная жизнь

«Я абсолютно убежден, читатель, что все мы играем
выбранные нами роли»

Э. Лимонов

Глава 1

--Он сказал, чтобы ты ни о чем не думал,--потушив
сигарету в пепельнице, Андрей внимательно посмотрел на
Дмитрия. - И я думаю, он прав,--добавил он.

--Да прав-то прав,--вздыхнул Дмитрий Васильевич
Соболев, сорокапятилетний лысоватый мужчина среднего роста и
слегка округлого телосложения. - Вот только правда-то его...
однобокая, что ли...

--Это почему?- не понял Андрей.

--Ну как же?- удивился Дмитрий Васильевич.

На удивление Андрея он уже ничего не сказал. Попытался.
Но не получилось. 'Видимо в голову ему лезет откровенная
ерунда',--подумал Андрей про своего старшего товарища. Они
знали друг друга давно. Познакомились на заводе. Дмитрия
Васильевича тогда повысили, и он стал начальником отдела. А
Андрей Фугов пришел на должность молодого специалиста. Друг
другу они приглянулись сразу. Поэтому, проработав три года бок
о бок, ушли сразу после начала Перестройки сначала в
кооператив, а после разорения того - в коммерческую фирму.
Которая тоже вскоре развалилась. И после этого успевшие к тому
времени сдружиться мужчины друг друга не видели.

Встретились они недавно. Андрей (Андрею было тридцать семь) работал редактором журнала. На должность ответственного секретаря и был принят Соболев. Прежний ответственный секретарь спился. Соболев не пил. Быть может это и решило выбор Минина, главного редактора, который рассудил, что такого специалиста (судя по грамотам и аттестатам предоставленным Дмитрием Васильевичем) найти необычайно сложно, и положил новичку сразу двойной оклад. Расщедрился.

Через две недели Минин понял, что Соболев зануда. Еще через неделю он вынужден был признать, что Соболев все же пьет. А еще через неделю и к концу месяца работы Карл Абрамович Минин принял решение Соболева уволить. Причем порывался с позором.

--Иди к нему,--умоляющими глазами посмотрел на Соболева Фугов.- Уговаривай, расскажи, придумай что-нибудь. Он должен отказаться от своего решения.

--Ну, не знаю,--с сомнением покачал головой Соболев.- Думаешь, на что-то еще можно надеяться?

--Ну, а почему нет?- убежденно произнес Фугов.- Ведь не зверь же Минин...

Андрей знал, что Минин как раз зверь. Год он работал под его началом, и за этот год Минин уволил в общей сложности человек двадцать. Притом что семь человек выгнал с работы сразу, как только пришел. Еще пять - в течении первого месяца. Нет, зверем он не был. Он был хуже. Он был параноик. И через время ему начинало казаться, что против него готовится заговор. И он убирал ('вынужденно убирал',--как убеждал себя) возможных зачинщиков.

На самом деле бредом это было полнейшим. Газета была не только частная, но и Карл Абрамович был единственным акционером. У него был даже не контрольный пакет акций. Все было его. Он сам узнал о том, что некогда одна из крупнейших газет Питера разорвется. И спас ее своими финансовыми вливаниями. И как ни странно, действительно спас. И даже она стала приносить прибыль.

Можно было поражаться деловой хватке Минина. До пятидесяти трех лет он работал в федеральном агентстве по коммуникациям. А потом неожиданно ушел с, в общем-то, нелепой должности государственного чиновника, и стал владельцем собственного органа печати. Чему, в принципе, можно только радоваться. Если не знать о климате, который царил в коллективе. Все ходили буквально на цыпочках. И терпели. Терпели, потому что платил Минин им достаточно много. Больше чем в большинстве российских изданий. И это притом, что на самом деле финансовое положение издания было совсем не такое, чтобы платить подобные оклады. Деньги Минина снимал с нефтедолларов. Его тесть был нефтяной магнат. И считал своим долгом ежегодно перечислять на счет зятя сто тысяч долларов. Помимо небольшого количества акций, которые подарил ему после свадьбы на его дочери.

Минин нефтедоллары старался не тратить. Он сразу купил себе все необходимое (квартиру, машину, и прочее), и все остальные полагающиеся ему деньги просто откладывал. На черный день.

Периодически он оттуда все же снимал какие-то суммы. Супруга считала - на забавы. Газету мужа она считала забавой.

Сам Минин полагал, что вполне имеет право на увлечение. Сейчас этим увлечением была газета.

Минин знал, что через какое-то время он откажется от газеты. Продаст. Но пока наличие собственного издания в какой-то мере ему шло на пользу. Он не только тешил собственные амбиции, отсеивая тот или иной материал, и пропуская другой в номер, но и управляя многочисленным коллективом -- реализовывал свои амбиции. Властные желания.

Причем не только командовал подчиненными, но и действовал порой жестоко. Выговаривая за мельчайшую провинность, увольняя с работы, и вообще со стороны казался настоящим монстром. Или еще вернее сказать - князьком. Этаким удельным князьком.

Маленького роста, пухленький, с взъерошенными волосами Минин и на самом деле казался себе князем.

--Гад он,--тяжело вздохнул Соболев. Он уже понял, что ему придется идти к Карлу Абрамовичу и упрашивать (вероятнее всего придется именно упрашивать) его отменить собственное решение. Ну, или хотя бы отсрочить его. На месяц. За месяц Соболев надеялся, что или уговорит старого еврея (за глаза главреда называли старым евреем) отказаться от увольнения, или же найдет новую работу.

Где он будет искать новую работу, Соболев не знал. Да и, если честно, ему этого не особенно хотелось. Он как-то на удивление сработался с коллективом. Да и здесь работал его старинный приятель Андрей Фугов, который возглавлял отдел культуры. В общем, Соболев намеревался удержаться. На крайний случай он готов был сказать Минину все что о нем думал. В лицо.

Так просто он уходить не собирался. (У Соболева, было, еще промелькнула мысль, что можно подловить Карла Абрамовича где-нибудь в подъезде и отпиздить. Но почти сразу - пообсасывая подобную мысль с разных сторон - от подобной идеи он отказался. Некрасиво бить людей.)

--Может дать ему денег?-- посмотрел на Андрея Соболев, уже выйдя из кабинета и заглянув вновь.

--Не стоит,--улыбнулся Андрей. На самом деле улыбка получалась вымученной. Ему уже порядком надоел старый приятель. Тот и на самом деле был нудным. А еще Фугов подозревал, что Соболев с возрастом поглупел. И была бы воля Андрея - он бы и вообще с ним не общался.

К Минину Соболев не пошел. Он только вышел из кабинета Андрея, и ему сразу встретилась секретарша Нина. Нину он и трахал до конца рабочего дня, закрывшись в кабинете Минина (тот внезапно уехал, сказав, что будет уже только завтра).

На следующий день Соболев пришел на работу как ни в чем не бывало. Притом что приказ об его увольнении пришедший утром на работу Минин распорядился вывесить на доске объявление. Секретарша Нина не только была его любовницей, но и на нее Минин возлагал определенные надежды. А тут она совсем не вышла на работу. Да и, как ему сообщили, вообще с трудом ушла предыдущим днем с работы. Закрывшись с Соболевым в кабинете и напившись там. А о том, что они там делали, Минин думать боялся. Но вполне догадывался.

Уволить секретаршу он не мог. Нина была не просто секретарша и его любовница, но еще и родственница его хозяина. У Минина был хозяин. При встрече он его так и называл: хозяин.

Хозяин когда-то занимал министерскую должность в правительстве Николая Рыжкова. Да и потом на пенсию по сути не ушел. Тайно манипулируя людьми, которым он собственноручно когда-то помог занять какие-то посты. И которые были ему очень сильно благодарны.

Одним из таких был Карл Абрамович Зельдин. Взавший по настоянию хозяина фамилию Минин. В каких-то сводках имя-отчество обычно шло инициалами. А фамилия была на виду. И еврейская фамилия могла помещать продвижению.

Минин хозяина боготворил. Несмотря на то, что давно подозревал, что тот заметно подрастерял свои позиции. Да и связей у хозяина таких уж не было. Стоило всем, кому он когда-то помог, отказаться от тайной службы ему, и все. Хозяин был бы уже не хозяином.

И хотя Минин понимал, что поступить так было бы откровенным свинством, иной раз он мечтал о том, что было бы, если бы... Дальше, впрочем, дело не шло. Минин продолжал служить своему хозяину. И готов был выполнить любую его просьбу. Расценив ее как приказ.

О наличие у Минина хозяина никто не знал. Все считали его фигуру достаточно самостоятельной. И тихо ненавидели. Но терпели. За те деньги, которые он им платил, можно было и потерпеть. Ну а почему нет?

Глава 2

Василий Старобойников был гей. Многие удивлялись, как он мог стать таковым с подобным именем и фамилией.

Но сам Василий не удивлялся. Геом был его отец и его дедушка. И ему хотелось даже пошутить, что подобная склонность к мужскому телу передалась ему по наследству. Но шутить об этом было не принято. С этим необходимо было просто смириться. Василий и смирился. До последнего, впрочем, стараясь не поддаваться на страсть к мужскому телу. У него было пять детей и жена-монашка. Ну, в том плане, что по внешнему виду она напоминала монашка. Ходила в строгих платьях, не пользовалась косметикой и контрацептивами, и была холодна к сексу. За десять лет семейной жизни Василий трахнул ее всего пять раз. С периодичностью в несколько лет. После каждого раза она становилась беременной. И с тайной радостью находила причину отказа от секса: мешал живот. Да Василий, впрочем, и не настаивал. Любовью он занимался с мужчинами. Мужчины все были старше Василия. И с удовольствием трахали его. А он получал от этого удовольствие. Каждый раз не забывая благодарить их за это.

Почему знаю об этом я? Василий мне рассказывал сам. Стоило ему только выпить, как этот грузный сорокалетний мужчина изливал кому-то душу. Часто этим кем-то оказывался я. Мне не хотелось, чтобы об откровениях Василия узнал кто-то еще. Как мог я старался это предотвращать. А вот время разговора с Василием осторожно сподвигал его к новым рассказам. Чтобы он не повторялся. Даже два раза слушать одно и то же было неинтересно.

Мне казалось, Василий переживал из-за своей сексуальной ориентации. Пусть он стремился показать обратное. Меня было не провести. Наблюдение за людьми и последующий

анализ их слов, жестов, поступков было моей профессией. После этого мне оставалось лишь перенести все на бумагу. Василий же, словно подозревая о моем действительном любопытстве к его персоне, откровенно мне обо всем рассказывал. А я... Я был только благодарен ему за это.

Работал Василий рабочим. Это тоже было для меня откровением. Рабочий - пидарас, это немного не укладывалось в голове. Также как было бы странным, если бы с плотниками или с грузчиками случались депрессии. И когда я узнал что такое возможно (несколько человек соответствующих профессий мне сказали о том) понял, что в нашей стране возможно все. Хотя и, наверное, и не только в нашей.

.....
.....

Василий Старобойников познакомился с Мининым и стал его любовником. Причем теперь не Василия имели, а Василий был первым номером, активным голубым. Пассивная роль досталась Минину. Отдаваясь, Карл Абрамович вероятно вспоминал, как когда-то трахал секретаршу Нину. Теперь вместо Нины был он. А Василий, поддерживая его за ягодицы своими волосатыми пальцами, вгонял раз за разом в лузу шар.

.....
..

Так получилось, что Минин взял Соболева обратно. Причем сам Дмитрий Васильевич не приложил к этому усилия. За него с Мининым договорился Старобойников. Почему? Не знаю. И даже не хочу догадываться. Пидарасом Соболев не был. Думать обратное не хотелось. Быть может он понравился

Старобойникову? Или этот человек с крестьянским лицом просто был за справедливость. А по справедливости Дмитрия Васильевича Соболева увольнять было не за что.

Глава 3

Уже несколько дней Фугов старался отогнать от себя навязчивое желание занять кресло Минина. Это было невозможно, если Карл Абрамович не пожелает уйти сам.

Судя по всему, сам он уходить не собирался. Выжить с места его было нереально. Минин был хозяин газеты. Разве что...

Фугов совершенно случайно узнал, что у Минина был настоящий хозяин. Как его звали и кто он был, Фугов не знал. Но когда увидел своего начальника в обществе высокого пожилого человека с властными чертами лица заинтересовался этим. И стал наводить справки.

На одном из этапов сбора информации его вежливо предупредили, чтобы он добровольно отдал 'все что нарыл'. И... Андрей испугался и все отдал. И пообещал... В том состоянии он готов был обещать все что угодно. Но когда вернулся домой - понял, что во что бы то ни стало должен встретиться с хозяином парней и хозяином Минина. Андрей Фугов уже не сомневался, что у Минина есть хозяин. И Фугов знал, что должен с ним встретиться. Зачем?

Как ни странно, об этом Фугов не знал. У него было интуитивное предчувствие, что подобную встречу ему сделать необходимо. И что уж наверняка, осознание того, что и как говорить придет на месте. Или на подходе к месту. Да и встреча

вообще может не состояться. И, в общем, надо думать о том, как встретиться...

.....
.....

Как ни странно, Маврикин Ипполит Андреевич, хозяин, сам решил встретиться с ретивым журналистом (ему доложили о Фугове). Было ему семьдесят лет. И когда-то он действительно занимал высокую должность в правительстве страны. А теперь был простым миллионером. Подпольным. По привычке Ипполит Андреевич не считал, что должен как-то и где-то светиться. Так ему было проще. И он оставил свой дом на Рублевке и квартиру на Кутузовском проспекте внучке, а сам переехал в Санкт-Петербург. В город, в котором и жил Фугов с Мининым. Да и остальные. И это оказалось как нельзя кстати. Потому что Фугова доставили к Маврикину уже через полчаса после того, как Ипполит Андреевич отдал соответствующий приказ.

На улице к Андрею Фугову подошли двое, и буквально запихнули его в подъехавшую рядом черную 'Волгу'.

У Фугова промелькнула мысль, что его арестовало КГБ. И только когда машина промчалась мимо Литейного 4, пришли первые сомнения. Фугова взяли на Невском проспекте. Через полчаса машина въехала в ворота небольшой усадьбы в Репино. По документам дом принадлежал все той же внучке Маврикина, Алене Бузе. Двадцати семилетняя девушка была настоящая светская львица. Все что она делала...

Впрочем, ничего полезного она не делала. Шоп-туры, фитнес-зал, косметические салоны... рестораны, ночные клубы, умеренное употребление кокаина и марихуаны, неумеренное

употребление алкоголя и сигарет, практически беспорядочные половые связи... Девушка жила в свое удовольствие. Отец с матерью ее были такими же. Семь лет назад Маврикин отправил их на ПМЖ в Грецию. А любимой внучке давал неограниченную свободу. Правда, на всякий случай тайно Алену сопровождал человек Маврикина, настоящий профессионал, бывший сотрудник КГБ Украины. Ипполит Андреевич не любил что-то пускать на самотек.

.....
.....

Фугов Маврикину не понравился. По его мнению, Андрей не был тем человеком, на которого нужно было делать ставки. Но... другого под рукой не было. Да и семидесятилетний Ипполит Андреевич допускал, что мог и ошибиться. А поэтому он подробно посвятил Фугова в план по устранению Минина. Устранение должно было начаться с дискредитации Карла Абрамовича. Весь необходимый компромат Маврикин передал Андрею Фугову. 'Компромат' лежал сейчас в черной папке. Ипполит Андреевич не сомневался, что с помощью этого Фугов сможет сделать так, что Минин сам сложит с себя полномочия.

Практически так все и оказалось. Минин оставил за собой общее управление издательским домом, но уже не вдавался в сам процесс, назначив на должность главного редактора Андрея Фугова.

После этого Минин заказал Фугова. А вместе с ним и Маврикина. А еще и Стародубцева. Его любовник ему надоел. К тому же Минин не сомневался, что Василий стучит органам.

Решив устранить всех троих, Минин задумался. Он вспомнил, что ему еще не нравился Соболев. И следовало свести счеты с бывшей секретаршей Ниной. И вообще, Карл Абрамович понял, что убить нужно многих. И желательно это было проделать последовательно и быстро.

Глава 4

Сукин был уставший молодой человек. Его папа олигарх. Мама сенатор. Дядя депутат. А тетья -- владелица АПК одного из районов ленинградской области. Молодой Сукин был бездельник и пьяница. В последнее время его слишком часто мучили депрессии. Он пил, как будто выходил из депрессивных состояний, но потом те усиливались. И ему уже ничего не хотелось. Разве что он не мог отказаться от занятий онанизмом. Который практиковал с четырнадцати лет. Сейчас ему было двадцать три. Жить ему уже давно не хотелось. Но он продолжал надеяться на чудо. И жил. Подсознательно предполагая, что это чудо должно когда-нибудь случиться.

.....
.....

Миша Сукин людей, в принципе, ненавидел. Несмотря на юный возраст, он устал от них. Так же, впрочем, как и от жизни. И Сукин вполне мог бы превратиться в суку и гада. Но не мог себе этого позволить. В минуты его более-менее ровного состояния это был необычайно вежливый молодой человек. Он даже не мог никому нагрубить. И уже должно быть потому -- многим нравился. Многим, потому что мало кто догадывался, что на самом деле скрывалось у Миши в душе. В душе Миша был

негодяй. Он бы с удовольствием изнасиловал встречавшихся женщин, и убил мужчин.

Но он терпел, пил, и дрочил. И как минимум одному человеку казался счастливым. Другу Сукина, Андрею Фугову.

Фугов и Сукин действительно были друзья. Знали они друг друга шесть лет. Сошлись на любви к книгам. И у того и у другого книги были тайной страстью. Книгами они обменивались, книги скупали. Так было вначале. А потом тоже самое конечно продолжилось, но на первый план вышел поиск малоизвестных современных авторов. И они не только находили их, но и оказывали поддержку. Сукин материальную (у него был счет в банке на полмиллиона долларов), а Фугов информационную. О малоизвестных авторах делались очерки, подготавливались статьи, создавались репортажи. Все было направленно на то, чтобы помочь талантливым, по мнению Фугова и Сукина, авторам стать более известными.

И в какой-то мере друзьям это удавалось. Кстати, именно один из малоизвестных авторов, которым помогал Фугов с Сукиным, и сообщил Фугову о готовящемся на него покушении.

Издав небольшой сборник стихотворений, этот автор зарабатывал на жизнь работой официантом в бане. Номера часто арендовали различные богатые и не очень богатые субъекты. И как же удивился парень, когда в случайно подслушанном разговоре стало фигурировать имя его покровителя, Андрея Фугова.

Естественно обо всем этом он сразу сказал Фугову. Фугов поделился с Сукиным. А Сукин позвонил дяде. Маврикин

приходился каким-то родственником дяде Михаила Сукина. И так как поэт-официант вспомнил еще фамилии, то...

В общем, обо всем стало известно Маврикину. И Ипполит Андреевич распорядился определить Минкина в сумасшедший дом, на Пряжку (есть в Санкт-Петербурге такое знаменитое место). Предварительно, конечно же, по своим каналам информацию проверив.

Информация подтвердилась. Минина лишили всех постов и поместили в дурдом. Зав.отделением был старый приятель Маврикина. Когда-то Маврикин помог ему, тогда еще студенту, поступить в ординатуру. Александр Геннадиевич, зав.отделением, охотно согласился помочь Минину. Того посадили на усиленные дозы аминазина и галапередола. Причем санитары, видя особую нелюбовь своего шефа к Минину - не церемонились с ним. Несколько раз Карла Абрамовича били психи. Психов насылали санитары.

Минина, наверное, и совсем бы превратили в дурака или идиота (а еще верней - настоящего больного), если бы его не вытащил Старобойников. Старобойников к тому времени стал любовником одного из руководителей здравоохранения города. Он не хотел и слушать, что его заказал Карл Абрамович (ему об этом сказали), а поспешил спасти его. Удалось. Минина освободили.

На удивление, курс химиотерапии сделал свое дело. Минин успокоился. Вокруг ему больше не казались враги. И хоть друзей, по его мнению, тоже не было, но уже можно было более-менее сносно жить. Продолжать жить. Минин уехал в Комарово, где у него был небольшой домик, оставшийся от бабки с дедом.

Денег у него было достаточно, чтобы прожить остаток жизни в свое удовольствие. Детей у него не было; жены тоже. Никогда. Да и Минину всегда было вполне неплохо одному. Правда, одному в городе совсем иное дело, чем в деревне. Скоро сытая размеренная жизнь опротивела Минину. Его душе хотелось накала страстей, хотелось жить и радоваться жизни. Вместо этого перед ним сейчас было лишь одно одиночество.

Первое время Карла Абрамовича спасала романтика. Бревенчатый дом, русская печь, сортир на улице,--чем не романтика. Но потом, привыкший к благам цивилизации Минин готов был взвыть. Ему стало просто скучно. Хотелось шума и веселья. Вместо этого - тишина и одиночество. Танцы в местном ДК раз в неделю. Население большей частью с испытанными лицами и безутешностью на лице. Из года в год ничего не менялось. В основном работа. Хотя работало главным образом женское население. Мужское вымирало от водки и от безделья. Молодежь сбегала в город.

.....
.....

После переезда в деревню Карла Абрамовича даже посетило вдохновение. Он задумал написать что-то навряд мемуаров.

Через месяц наступила депрессия. Через полгода депрессия все еще продолжалась. Писать не хотелось. Минин стал пить. Когда пил - отпускало. Ничего другого ему делать не хотелось. Порой сидел в доме, дрожа от холода (наступила поздняя осень), и будучи не в состоянии растопить печь. Ничего делать действительно не хотелось. Минин начал голодать. В

ближайший магазин нужно было идти полтора часа. Часто никуда идти не хотелось. Захотелось умереть. Минин приделал петлю, и вставил в нее голову. Петля затянулась на шее.

Умереть он не решился. Спасла его Нина.

Бывшая секретарша Нина вдруг осознала, что любит Минина. И приехала к нему. Они стали жить. В отношениях с Ниной Минину больше всего нравилась половая жизнь. Потенция его действительно была через край. Иной раз зашкаливала. Худой, длинный, седой Карл Абрамович насиловал Нину всевозможным способами. Маленькая, толстенькая, рыженькая Нина любила, когда ее берут силой. Она давала себя пристегнуть к кровати (большая кровать на пружинах), и раздвигала ноги, закрывая глаза. Хотя Минину больше нравилось трахать ее в зад. Он связывал девушку, прикрывал ее голову подушкой, и ебал. Зад был у Нины большой и мягкий. Минин мял ее ягодицы, потом раздвигал их, вставлял пенис, и начинал фрикции. Кончал чаще всего он тоже в зад. Получая при этом наивысшее удовольствие, и не решаясь что-то менять. Он уже смирился со своей жизнью. И мог бы прожить в деревне всю жизнь. Если бы у него не начался очередной кризис. И он не выгнал бы Нину. Вернее, она сама сбежала после того, как устала трахать Карла Абрамовича в зад искусственным фаллосом. Сначала ей это даже понравилось. Она одновременно сосала пенис Карла Абрамовича, и поддерживая его одной рукой, другой рукой вставляла фаллоимитатор ему в попу. Попа Минина светилась от радости. Также как и его лицо. Он расточал улыбки, и вообще казался вполне жизнерадостным и добрым мужчиной.

На самом деле Минин был извращенцем. А еще он был падлой и тварью. И не любил сам себя.

О том, что он падла и тварь - кричала ему Нина. Нина заводилась, когда ругалась. Если ругали ее - она чувствовала легкое сексуальное возбуждение. Если ругалась она - от слов была способна даже кончить. По крайней мере эффект сравнимый с оргазмом случался у девушки каждый раз, стоило ей обругать кого-то. А еще лучше -- обматерить. Материться ей нравилось. Причем когда-то окончившая филфак девушка ругалась весьма искусно. Она даже диплом собиралась писать по ненормативной лексике русского языка. Да переубедил ее научный руководитель. Сказав, что подобное делать все же не следует. Чтобы не повторяться. Многие собирались писать на эту тему. Да и не так могла понять комиссия.

Нина тогда обматерила научного руководителя.

Потом обматерила еще раз. Уже когда занималась с ним любовью. Прямо у него в кабинете. На столе. Смахнув бумаги на пол.

О матах Нина написала диссертацию. Практически закончив ту еще на первом годе обучения в аспирантуре. Но неожиданно в голове девушки что-то переменялось. Она захотела сытой и счастливой жизни. И когда ей предложили стать секретарем главного редактора только что зарегистрированного СМИ - она сказала что подумает.

Когда сказали, что на период испытательного срока ее зарплата будет составлять тысячу долларов - она решила что попробует. Попробует совмещать работу и обучение в аспирантуре. Специально для этого перевелась с очной формы на заочную.

После того как стала любовницей главного редактора, ее оклад повысили до полуторатысяч долларов. Еще пятьсот давали каждый месяц в качестве премиальных. И Нина совсем бросила учебу. Решив, что диссертацию всегда может защитить и после. А пока поживет в свое удовольствие. Тем более, вроде как, и времени особого на учебу не было. Днем работа. Ночью рестораны, казино, и ночные клубы. Девушка стала жить той жизнью, к которой поняла, что всегда бессознательно стремилась. Вот только раньше она считала, что для этого необходимо будет закончить институт; потом аспирантуру. Защитить диссертацию. Стать доцентом. Потом снова защитить диссертацию. Стать доктором. Потом профессором; потом... потом быть может занять должность зав.кафедрой. ну а дальше уже как получится. Тем более что Нина была уверена, что у нее должно получиться.

Но вот только так вышло, что она как-то быстро и неожиданно переменила свою жизнь. И забросив учебу - стала отдавать всю себя работе и начальнику.

После ее неожиданного увольнения девушка готова была наложить на себя руки. Жить действительно расхотелось. Тупик. В институт не вернуться. И от жизни обычного среднестатистического человека она уже как будто отвыкла. Ей хотелось денег, секса, и развлечений. Нравилось устраивать чуть ли не ежедневные шоппинги. Нравилось... Мало ли что ей успело понравиться за тот год, который она проработала в газете. Теперь у нее ничего не было. Тем более что и денег она никогда не откладывала, предпочитая те тратить.

Когда со своей должности слетел Минин, девушка задумалась над жизнью. Когда Минин уехал в деревню, поняла

что не все так просто. И решила, что судьба дает ей еще один шанс. Если она будет с Мининым сейчас, когда ему плохо, то... Девушка даже боялась себе представить что будет. Но понимала, что долго в деревне Минин не выдержит. И снова вернется в Питер. Или уедет в Москву. 'Такие как он не бедствуют', -- решила девушка. И уехала к Карлу Абрамовичу. Мысленно согласившись покорно выполнять любые его приказы. Даже самые гнусные. Реализуя любые его извращенные желания и фантазии. В общем, сейчас она готова была даже стать его рабыней. Ну а почему нет? Тяжело ли умеючи...

Глава 5

Фугов понимал, что жизнь проходит несколько иначе чем он, быть может, того бы желал. Его душе хотелось чего-то возвышенного и чистого. Вместо этого в его душе в последнее время была какая-то гадость. Даже сны были отвратительные. По колено в крови он кого-то преследовал, убивал, насиловал. Потом насиловали его. Вернее, когда начинали насиловать его - он просыпался. К подобному Андрей Дмитриевич был не готов. И менять сексуальную ориентацию не собирался даже во сне. Разве что...

Фугов задумался. Последние несколько дней он был уверен, что должен изменить судьбу. Ну, или в этой самой судьбе должно что-то измениться само. Что? Он не знал. Знал только, что что-то уже должно пойти совсем не так, как то было раньше. Должен (неприменно должен) был родиться какой-то новый сценарий. И пусть пока тот даже мысленно еще не сформировался, по сути, ничего страшного и не произошло. Главное, что все

обязательно должно было хорошо закончиться. Фугов в это верил. И очень хотел бы эту веру воплотить в действительность. Пусть пока и не знал, как он будет это делать. Главное для него сейчас было верить. Верить в доброе, чистое, светлое.

А пока ему снились жуткие сны. И он по несколько раз просыпался среди ночи. Опрокидывал в себя рюмку-другую водки, выкуривал сигарету, и засыпал вновь. Нервная система его была расшатана. И расшатана весьма серьезно. Но...

--Ты так можешь и с ума сойти,--удивленно посмотрел на него Соболев.-Так-то переживать за все.

--Я ни за что не переживаю,--попытался успокоить товарища Фугов, но сам уже знал, что все что не скажет, будет ложью. А лгать он не хотел. Поэтому промолчал.

--Ну, в чем ты сомневаешься?-участливо спросил Соболев.-Может тебе нужна какая-то помощь? Ты только скажи...

--И ты поможешь?-саркастически усмехнулся, перебив его Фугов.

--Ну, по крайней мере, попытаюсь,-- честно признался Соболев.

--А мне никакие попытки уже не помогут,--вздыхнул Фугов.-Все зашло слишком далеко.

--Ну, предположим, всегда есть выход,--предположил Соболев.

--Всегда?

--Да. Главное выявить проблему, и правильно расставить акценты, высвечивающие критические обстоятельства.

--Да все херово на самом деле,--произнес, закуривая, Фугов.-Все слишком херово,--повторил он.

--Ну, я думаю, не у тебя одного,--заметил Соболев.

Соболев сам бы мог признаться, что у него уже давно появились проблемы. Его не любили девушки, и у него не стоял член. Хотя, быть может, девушки не любили, потому что не стоял член.

А еще у него начинался сахарный диабет. И была подагра. И самое главное. Соболев был неудачник. Откровенный неудачник. Как говорится, по жизни. В его руках никогда ничего не ладилось. Ему всегда казалось, что другие настроены против него. И ему всегда становилось плохо, когда он начинал думать, как же ему от всего избавиться.

--У тебя-то у самого, наверное, все не слава Богу,-- угадал мысли товарища Фугов.

--???-вскинул брови Соболев.

--Да, да,--улыбнулся Фугов.- Так может случиться, что помогать-то придется не мне, а тебе. И помогу тебе я.

--Чем же?- удивился Соболев.

Он не верил. Вернее, он и верил и не верил. Ему очень хотелось верить. Но он так долго привык полагаться на себя сам, что...

--Я думаю, мы должны держаться вместе,--предположил Дмитрий Васильевич.- Тогда у нас все получится.

--Ты прав,--согласился Фугов.

В этот день больше они ни о чем не говорили. Допили водку, которую начали пить во время начала разговора, и разошлись.

А на утро Фугов узнал, что Соболев умер. Во сне. У него остановилось сердце.

--Что-то все действительно херово складывается,--
подумал Фугов.

Потом он пошел в магазин, купил две бутылки водки, и пил, пока не отключился. На следующий день пил снова.

...Через неделю его положили в больницу. Под капельницу. И из больницы он вышел уже совсем другим человеком. Ему было неудобно признаваться в том, что он совсем не испытывает горечи утраты друга. Ему вообще стало все равно. Он стал просто жить. Жить, не обращая внимания на жизненные неурядицы. Жить... просто жить.

А еще он ушел из газеты. Но как-то быстро устроился внештатным корреспондентом сразу в несколько изданий Питера. Где писал под различными псевдонимами о новостях культурной жизни северной столицы.

А еще он влюбился. В Васю Старобойникова. И быть может это была не любовь, а просто начало новой дружбы. Но дружить с кем-то Андрей теперь боялся. Ему было неудобно признаться, но он отчего-то опасался, что его новый друг умрет. И, конечно же, это была никакая и не любовь. Ведь Фугов не был пидарасом. Он был вполне обычным мужчиной. Любил женщин. С которыми, правда, почему-то стеснялся знакомиться. Почему? Да кто же его знает?

Глава 6

Миша Сукин не находил себе места. После смерти Соболева он думал о том, что в любой момент внезапная смерть может постигнуть и его. И как от нее защититься он не знал. Так же как понял, что он вообще мало что знает. И быть может так же

мало что понимает. А еще вернее - не понимает ничего. И все что вдруг захотел - это изменить свою жизнь. Заставить ее идти по совсем иному сценарию. Для этого он готов был на многое. Хотя и сам не знал, даст ли что это изменение жизни. Быть может и ничего. Но и оставлять все так как есть, не хотелось.

.....

Из состояния начинавшейся депрессии Мишу вывел папа. Папа предложил ему поехать поработать в Африку. На год. Заместителем директора открывшегося в Африке представительства. И Миша Сукин неожиданно воспринял это как действительный выход из положения. И уговорил папу разрешить ему взять с собой Андрея Фугова. Своим заместителем. Папа согласился. Фугов, получив подобное предложение, задумался. А потом тоже согласился. Он подумал, что для него будет весьма кстати куда-нибудь уехать. Тем более в Африку. Африка в его представлении была как раз тем местом, где ему надо будет приспособливаться к совсем другой, новой жизни. А значит старым невзгодам да проблемам просто не будет места в его сознании. Да и в подсознании тоже.

Сукин с Фуговым уехали. И взяли с собой секретаршу Нину. Нине надоело выполнять извращенные фантазии Минина. К тому же она уже поняла, что Минину совсем и не хочется никуда уезжать из деревни. Сельская жизнь его вполне устраивала. Он даже стал осваивать профессию комбайнера. Как решила Нина --- Карл Абрамович окончательно сошел с ума. И с легкостью бросила его.

Сразу же после этого к Минину приехал Старобойников. Василий решил, что никого лучше Минина среди его любовников

еще не было. Нам трудно сказать почему? У геев какое-то свое видение вещей. Поэтому с тем, что происходит с их участием, необходимо было просто считаться. И быть может не пытаться это особо анализировать.

А лучше всех, должно быть, продолжал жить Маврикин. Он имел на это право. Продержавшись на плаву при всех режимах (застав еще эпоху Иосифа Виссарионовича). И, в принципе, наверное, имел на это полное право.

Впрочем, так же как и все остальные...

08. 11. 06

Сергей Зелинский

**© С.А.Зелинский. Подмена
реальности.**

